

ОЛЬГА
СЕДАКОВА



СТИХИ

ОЛЬГА
СЕДАКОВА

СТИХИ



ОЛЬГА
СЕДАКОВА



СТИХИ



« ГНОЗИС »
« Carte Blanche »

Москва
1994

ББК 87.3

С 68

Седакова Ольга Александровна

Стихи

Подготовка текстов

Н. Брагинская, А. Великанова, Л. Евдокимова, М. Гринберг

Художник

В. Коршунов

В оформлении использован керамический барельеф

Ю. Ярина

Издатель

Н. Тучкова

Седакова О. А.

С 68 Стихи. «Гнозис», «Carte Blanche», Москва, 1994, 384 стр.

Стихи Ольги Александровны Седаковой не нуждаются в рекомендациях читающей публике. Сборник включает стихи 1970—1993 гт., многие из которых были известны ранее только по зарубежным изданиям. В издание включены также прозаические заметки «Похвала поэзии» Ольги Александровны Седаковой и эссе Сергея Аверинцева «Горе, полное до дна».

без объявл.

ББК 87.3

ISBN 5 - 7333 - 0467 -7

© О. А. Седакова, 1994

© В. П. Коршунов, оформление, 1994

ОТ АВТОРА

Эта книга состоит из нескольких самостоятельных стихотворных книг. Они задумывались как цельные ансамбли, большие или малые. Иногда они выдержаны в каком-то одном тоне («китайском», «античном», «средневековом»), но это не стилизации, не переводы, не обработки готовых тем. Стильность такого рода – приблизительно то же, что тонированная бумага для рисовальщика: иному рисунку приятнее расположиться на какой-нибудь подцветке. А то, что первоначально казалось «белым» стилем (максимально прозрачный, максимально непосредственный поэтический язык), с ходом времени – или ходом мысли? – оказывается желтоватым, пожухлым: «манерой». И вновь требуется более прямое, исчезающее перед своим предметом слово. Такого слова, собственно, мне всегда и хотелось. Так что это собрание стихов – не столько сумма каких-то отдельных утверждений, сколько история опровержения себя:

Неизвестно куда, но прочь.

Весь труд по подготовке этого издания великодушно взяли на себя Н. Брагинская, Л. Евдокимова, М. Гринберг и А. Великанова. Им и всем моим любимым друзьям, ушедшим и живым, и посвящено это пестрое собрание, с благодарностью за их помощь и еще больше – за то сочувствие, которое, как знал Тютчев, дается только чудесным образом –

Как нам дается благодать.

О.С.

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СТИХОВ

* * *

Неужели, Мария,
только рамы скрипят
только стекла болят и трепещут?
Если это не сад –
разреши мне назад,
в тишину, где задуманы вещи.

Если это не сад,
если рамы скрипят
оттого, что темней не бывает,
если это не тот заповеданный сад,
где голодные дети у яблонь сидят
и надкушенный плод забывают,

где не видно ветвей,
но дыханье темней
и надежней лекарство ночное...
Я не знаю, Мария, болезни моей,
это сад мой стоит надо мною.

1970

* * *

Мой слух наготове. Ты знаешь. И даже
когда я не вижу, но музыка вяжет

висячую лестницу в воздухе сада,
и каждая ветка угодничать рада –

мой слух наготове. И руки окрепли
отталкивать эти свистящие петли.

1973

* * *

Когда говорю я: Помилуй! Люблю...–
я нёбом лукавлю, гортанью кривлю.

Но странная ласка стоит без касанья –
так улицы старой ласкает названье

и стонет душа, ни жива – ни мертва,
стыдась чародейства, боясь торжества.

1973

СЕСТРЕ

Туда, где росли мы, туда, где смотрели
в один застоявшийся воздух свирели,
туда, где услышать мы были должны
одну тишину от струны до струны,

где мокрую вишню делили на блюде –
туда мне однажды случится вернуться
умытой, как прежде, рукою родной
в постеле больной,
со знакомой виной.

Две сверстницы рядом – но кто же играет?
Одна у калитки стоит, а другая,
еще не проведав своей темноты,
горячей рукой обрывает цветы.

1973

РАННЯЯ БАЛЛАДА

В двух шагах от притворенной
двери в детскую, за щель –
шепчут стайкой оперенной
в крыльях высохших плащей.

Что ни скажут – позабудут,
чем сулятся – не поймут.
Вместе выйдут. Ливнем будут.
Только слова не возьмут.

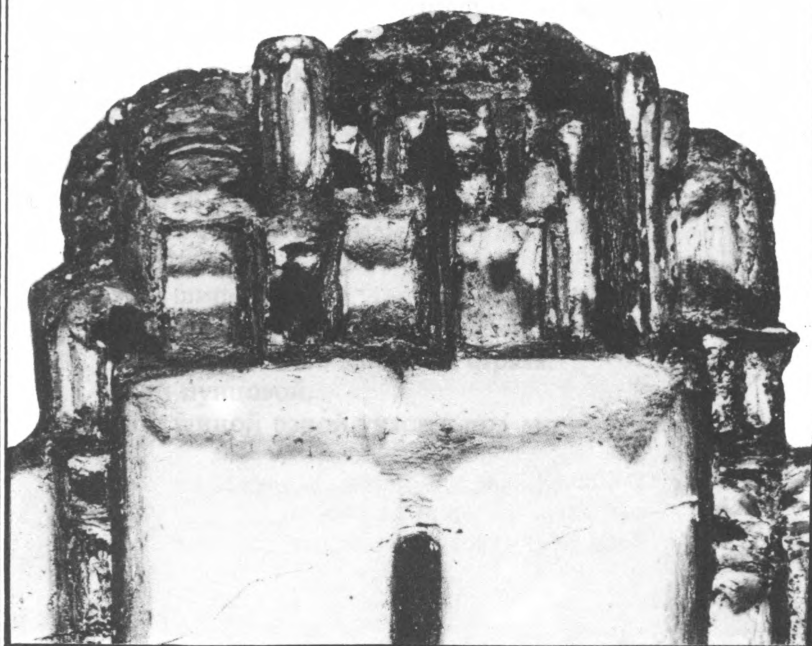
И стоит оно слезами
изголовья моего –
словно ангелы сказали,
не запомнив, для чего.

1973

ДИКИЙ ШИПОВНИК

легенды и фантазии

1978



ДИКИЙ ШИПОВНИК

Ты развернешься в расширенном сердце страдания,
дикий шиповник,

о,

ранящий сад мироздания.

Дикий шиповник и белый, белее любого.
Тот, кто тебя назовет, переспорит Иова.

Я же молчу, исчезая в уме из любимого взгляда,
глаз не спуская
и рук не снимая с ограды.

Дикий шиповник
идет, как садовник суровый,
не знающий страха,
с розой пунцовой,
со спрятанной раной участка под дикой рубахой.

ЛЕГЕНДА ВТОРАЯ

Среди путей, врученных сердцу,
есть путь, пробитый в оны дни:
переселенцы, погорельцы
и все, кто ходит, как они, –

в груди удерживая душу,
одежду стягивая, шаг
твердя за шагом – чтоб не слушать
надежды кнут и свист в ушах.

Кто знал, что Бог – попутный ветер? –
ветров враждебная семья,
чтоб выпрямиться при ответе
и дрогнуть, противостоя,

и от любви на землю пасть,
и тело крепкое проклясть –
ларец, закрытый на земле,

и руки *так* они согнули,
как будто Богу протянули
вино в запаянном стекле:

– Открой же наконец, испробуй,
таков ли вкус его и вид,
как даль, настоянная злобой,
Тебя предчувствовать велит!

ЛЕГЕНДА ШЕСТАЯ

Когда гудит судьба большая,
как ветер, путника смущая,
одежду треплет – и своя
душа завидней, чем чужая, –
монах старинный вопрошает:
– Скажи, кому подобен я? –

и видит: зеркало живое,
крылатое, сторожевое,
журча, спускается к нему –
и отражает ту же тьму,
какую он борол. Но в нем,
в дыханье зрячем за стеклом,
она – как облако цветное,
окружена широким днем.

Так чья-нибудь душа живая
не вытерпит прямого дня,
и горе горем прикрывая,
и слово словом заслоня,
тьму путевую соберет
вокруг себя – и в ней пройдет.

И в ней огонь его горит.
И свет, как притча, говорит.

ЛЕГЕНДА СЕДЬМАЯ

СМЕРТЬ АЛЕКСИЯ РИМСКОГО УГОДНИКА

Ты сад, ты сад патрицианский,
ты мрамор, к сердцу привитой,
шумишь над снящейся водой,
над юностью медитерранской,
делясь последней красотой
с усыновленным сиротой.

И лепестки себя кидают,
и распускается вода,
и так колонны расцветают,
что сердце бьется от стыда.

И человек ли угадает,
зачем насажен этот сад,
зачем нас в горе покидают
и в радости зовут назад
и – попрощайтесь! – говорят,
и снова прошлым окружают.

И вот окно выходит в сад.
Как в слабоумном отраженье,
он узнает свой новый взгляд
в его стесненье и стяженье.
Волокна верят и болят:
– Неужто Бог идет, как яд? –

Идет, как яд идет в крови,
и, безопасный иноверцу,

Он только слышащее сердце
рвет, словно письмо любви.
И сердце просит:

– Разорви! –

я слышу хищное снижение
другой столицы. Перед той
ты – сдержанное унижение,
предместье юности второй,
семейный плач, наемный вой. –

Он здесь уже. Семья больная
со светом требует меня.

Я выйду, глаз не поднимая
и шага не переменя.

И если время утешает,
то примет вас, как слезный плат,
как со свечи нагар снимают,
как в окна ласточки летят,

как я иду в глаза из глаз
уже в слезах воспоминанья,
я, голос, поднятый за вас,
и принятое подаянье.

SELVA SELVAGGIA

Триптих из баллады, канцоны и баллады

I. ПРОВОДЫ

памяти Михаила Хинского

Из тайных слез, из их копилки тайной
как будто шар нам вынули хрустальный –

и человек в одежде поминальной
несет последнюю свечу.
И с тварью мелкокрылой и печальной
душа слетается к лучу.

– Ты думаешь, на этом повороте
я весь – разорванная связь? –
я в руки взял
то, что внутри вы жжете,
и вот несу, от света хоронясь.

И я не воск высокий покаянья,
не четверговую свечу,
но малый свет усилья и вниманья
несу туда, где быть хочу.

Промой же взгляд, любовью воспаленный,
и ты увидишь то, что я:
водой прекраснейшей, до щиколоток влюбленной
полна лесная колея.

Гляди же: за последнюю свободу,
через последнюю листву,
по просеке, по потайному ходу,
раздвинутому веществу
ведут меня. –

И, сколько сил хватило,
там этот свет еще горит,
и наших чувств темнеющую силу
он называет и благодарит.

II. ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА

1

Иди, канцона, как тебе велят,
как в старину, когда еще умели,
одним поступком достигая цели,
ступить – и лечь.

И лечь к купели у Овечьих Врат
к родному бесноватому народу,
чтоб ангела, смущающего воду,
уже упавшим сердцем подстеречь.

И если впрямь нам вручена свобода –
ступай туда, где нечего беречь.

Мне часто снится этот шаг и путь,
как вещь, какую в детстве кто-нибудь
нам показал и вышел. И она
не названа, но кровью быть должна,
и с нею жить, и с ней держать ответ.
И путь смущенья и уничтоженья,
который, может быть, и я пройду,
но ты пройди, канцона. Если ж нет
в тебе терпенья – нет и нам прощенья,
и мы лепечем, как дитя в бреду,
и променяли хлеб на лебеду.

2

Да, как дитя, когда оно горит
в жару предновогодней скарлатины,
и будущего узкие картины
летят, как полоумный серпантин,
и в нем старуха. Шаркает, свистит,
внимательней, чем Гауф нас пугает,
глядит в котел и корень разгребает
и говорит при том: один, один...

Один ты, дух мой. Друг мой, прикипает
все варево для горьких именин.

Ты надо мной стоишь, как над котлом
с клубами легких, колотым стеклом
и кожей лягушечьей внутри,
и говоришь: Вставай или умри! –
но лучше встань. Узнаешь по пути
что станет из рассыпанного звона
и почему он гибели искал.
Украдкой, раздвигая конфетти,
пойдем домой. Иди, моя канцона,

как кажется больному, что он встал,
и вот идет, хотя кругом – кристалл.

3

Идет, идет. Репей, болиголов,
трехлетняя крещенская крапива –
таким, как мы, такими, справедливо,
знакомые откроются луга
в сердцебиенье. Из твоих следов
по-птичьи пьет обогнанное нами –
и человеческими голосами,
напившись, делается. И тогда:

– Ты видишь, хлеб твой ест тебя, как пламя.
Как мы, ты не вернешься никуда.

Ты будешь с нами в спрятанном лесу.
Мы те, кого сморгнули, как слезу.
И наша смерть понравится тебе,
как старый ларчик в дорогой резьбе...
Но флагеллант, когда последний кнут
он истребал – последними глазами
он мысленный занес бы за плечом.
Так ты, моя канцона, встань. И тут
дорога будет вобрана зрачками

и выпрямится островерхий дом.
И кто нам говорил, что мы умрем?

4

И блудный сын проснулся у крыльца,
где лег вчера, не зная, как признаться,
что он еще не умер. Домочадцы
толпятся в сердце, в окнах, на крыльце!
Но кто, как сердце, около отца
к нему выходит? – и перед *собою*
он падает, как зеркало кривое,
и трогает морщины на лице:

не я ли жил, не я ли был водою
и сам себя отобразил в конце...

И милует, и гладит колыбель.
И кажется, и движется купель:
– Где б ни был ты – ты был, как луч в луче,
в горячем плаче на моем плече.
Так встань и слушай и скажи за мной:
Да, верю я, и знаю, и владею,
как кровь живая, замкнутым путем
горячей тьмы, где, плача над собою,
звуча: – Я предварю вас в Галилее! –

мы, как слепцы последние, идем –
как зренье, сделанное веществом.

5

Прощай, канцона. Гордому уму
не попадайся, чтоб не различили
худых одежд, нечесанных волос.

А друга встретишь – поклонись ему,
как Бог судил, как люди научили,
как сердце разломилось и срослось.
И поклонись, и выпрямись без слез.

III. БАЛЛАДА ПРОДОЛЖЕНИЯ

И путник усталый на бога роптал.
А. С. П.
В пустынных степях аравийской земли...
М. Ю. Л.
Он шел из Вифании в Иерусалим...
Б. Л. П.

И страшно и холодно стало в лесу.
Куда он зашел? И зачем на весу
судьбу его держат, короткую воду
в стакане безумном, в стекле из природы,
из слабости: вдруг раскатиться, как ртуть.
И шел он, и слезы боялся смахнуть.

И некогда было: еще за ольху –
и вырастет ветер, как город вверху,
и дрогнет душа от собачьего лая.
И слабая жизнь, у стола засыпая,
бренча в угольках, завывая в трубе,
опять, как к ребенку, нагнется к тебе.

Но прежде проснется, кто в доме уснул,
услышит, что голосом сделался гул,
и в окна посмотрит, и встретит у входа
с лицом, говорящим: Я ум и свобода,
я все, чего нет у тебя впереди.
Но хлеба не жалко, и ты заходи.

И долго, пока он еще исчезал,
и знал, что упал, и стакан расплескал,
как этого просит старик, пораженный
худым долголетьем, как хочет влюбленный

его расплескать, оставаясь вдвоем, –
а он не просил, и не помнил о том: –

Но долго, пока он еще исчезал,
и мимо него этот сброд проползал,
который и взгляда людского стыдится,
и в дуплах, и в норах, и в щелях плодится –
а здесь проползал, не стыдясь его глаз,
как будто он не жил и не был у нас. –

Так долго, пока он еще исчезал,
твердил он: Ты все, чего я не узнал,
ты ум и свобода, ты полное зренье,
я – обликом ставшее кровотечение.

И тут раздалось, обрывая его:
– Я ум и свобода, но ты – торжество.

ПРОЩАНИЕ

I

Мне снилось, как будто настало прощанье
и встало над нашей смущенной водой.
И зренье мешалось, как увещеванье –
про большие беды над меньшей бедой,
про то, что прощанье – еще очертанье,
откуда-то ведомый очерк пустой.

Но тут, как кольцо из гадательной чаши,
свой облик достало из жизни молчащей,

и плача, смущая и глядя в нее,
стояло оно, как желанье мое.

II

Так зверю больному с окраин творенья,
из складок, в которые мы не глядим,
встряхнут и расправят живое виденье,
и детство второе нагнется над ним,
чтоб он не заметив простился с мученьем,
последним и первым желаньем учим.

И он темноту, словно шерсть, разгребает
и слышит, как только к соску припадает,

кормилицы новой сухие бока
и страшную сладость ее молока.

III

Я тоже из тех, кому больше не надо,
и буду стоять, пропадая из глаз,
стеклянной террасой из темного сада
любясь, как дождь, обливающий нас,
как полная сердца живая ограда
у стекол, пока еще свет не погас.

Ограда прощания и поминанья,
целебная ткань, облепившая знанье.

и кто-то кивает, к окну подойдя,
лицу сновиденья, смущенья, дождя.

* * *

То в теплом золоте, в широких переплетах,
а то в отрепье дорогом
ты глаз кормилица, как ласточка, крылатых,
и с переломанным крылом.

И там, где ты, и где прикрыться нечем,
где все уже оборвалось -
ты глаз кормилица, забывших об увечье,
летающих до звезд.

ПРЕДПЕСНЯ

И перед ним водой смущенной
толпятся темные слова...

Он глаз не поднимает – и вода
глаза отводит. Широко шумит
предания двойная слепота.

Так вот что ты, ужасная вода,
ты, слипшееся вещество мгновенья,
само себе закрывшее глаза
зачатие, враждебное рожденью.
Непокидаемая колыбель стыда.

Но как змею двузвучная дуда,
высвистывая внутреннее зренье,
заставит повторить его – тогда,
когда слепец положит на колени
всю лиру легкую, когда найдет на ней,
сияя мелочью невиданных вещей,
полубожественное снаряженье

тогда, огромный свет держа перед собой,
мы медленно пойдём, предварены тобой.

СТРАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Так мы и ехали: то ли в слезах, то ли больно от белого света.
Я поглядела кругом, чтоб увидеть, как видимо это.

– Так, как душа твоя ноет и зрение хочет разбить –
зеркало злое, кривое, учившее вас не-любить.

Так и узнала я, с кем мне положено быть.

Друг мой последний и первый, невиданный, лишь напряженье
между желаньем и ужасом, только движенье
к гибели, гибнуть когда не желают, и гибнут, ища продолженья
в этом лице – терпеливо оно, как растенье.

Сердце сердец, погубивших себя и влюбленных в спасенье.

Мы проезжали поля, и поля отражали друг друга,
листья из листьев летели, и круг выпрямлялся из круга.
Или свиданье стоит, обгоняющий сад,
где ты не видишь меня, но увидишь, как листья глядят,
слезы горят,
и само вещество поклянется,
что оно зрением было и в зренье вернется.

Поезд несется,
и стонет душа от обличий,
рвань раздвигая живую, как варварский, птичий,
страстный язык, чтобы вынуть разумное слово...
Ты ведь уже не свиданье, не разрывание круга цветного.

Буду я ехать и думать в своей пустоте предсердечной,
ехать, и ехать, и плакать о смерти моей бесконечной...

ПОБЕГ БЛУДНОГО СЫНА

Ты все – как сердце после бега,
невиданное торжество,
ты жизнь, живая до того,
что стонешь, глядя из ковчега
в пучину гнева самого
и требуешь уничтоженья:
движенья в ужасе, вверженья
в ликующее вещество.

И нет меня, когда не море
твоих внушений об одном.
И только ищущее горе
люблю я в имени твоём.
Другие в нём искали света.
Мне нет ни брата, ни совета.
Я не жалею ни о ком.

Пускай любовь по дому шарит,
и двери заперты на ключ –
мне чёрный сад в глаза ударит,
шатаясь, как фонарный луч.
И сад, как дух, когда горели
в огне, и землю клятвы ели,
и дух, как в древности, дремуч.

Ты жить велишь – а я не буду.
И ты зовешь – но я молчу.
О, смерть – переполненье чуда.
Отец, я ужаса хочу.
И, видимую отовсюду,

пусти ты душу, как Иуду,
идти по черному лучу!.. –

и, словно в глубине колодца,
все звезды вобрались в одну,
в одну, тяжелую от сходства.
Притягиваемую ко дну
так быстро, что она клянется,
что выстрадает – и вернется,
как тьму, съедая глубину

и отражая до конца
лицо влюбленного отца.

ЛЕГЕНДА ДЕВЯТАЯ

ОТПЕВАНИЕ МОНАХИНИ

Как темная и золотая рама
неописуемого полотна,
где ночь одна, перевитая анаграмма,
огромным именем полна –

так было, и она лежала
с лицом свободных покрывал,
и в твердом золоте любовь изображала,
что каждый ей принадлежал.

Не понимая продолженья,
переменяясь на виду,
вдруг вырезанные из темноты и пенья,
мы знали, что она в саду.

Куда когда-нибудь живое солнце входит,
там, сад сновидческий перебирая и даря,
она вниманье счастья переводит,
как луч ручного фонаря.

СРЕТЕНИЕ

Пророков не было. Виденья были редки.
 И жизнь внутри изнемогла,
 как в говорящей, пробующей клетке
 непрорастающая мгла.

– Еще усилие – и все, что возникает,
 я все, как руку протяну,
 весь этот сон о том, как время протекает
 через враждебную страну.

И время движется, как реки Вавилона.
 Неразделенную длину,
 огромные года, их сон уединенный –
 я все, как руку протяну.

Я руку протяну, чтобы меня не стало.
 И знаю, *как* она пуста –
 растение пустоты, которое теряло
 все, что впитала пустота.

Да, время движется, как реки Вавилона,
 но тайну рабства своего,
 но сердце рабства – музыкальным стоном
 не выдаст плачущее существо.

и будет плакать молча и влюбленно
 там, где заставили его:

– Прости, что эта жизнь не значит ничего –
 она не знает о значеньи:
 в живом волнении терпенья твоего
 удержанное утешенье.
 И забывая, и не зная как,
 по тьме египетской участья,
 она несет тебе неповторимый мак –
 коробку зрения и счастья!

Я вижу по земле, что вещи и значенья
она должна перевести:
так, как дитя глаза – на смелое растение,
уже решившее цвести.

Да, время движется, как реки Вавилона,
но есть в безумии его
лицо, полюбленное легионом
чудес, хранящих вещество,
и каждый человек во сне неразделенном
искал и требовал его.

– Я выхожу из времени терпенья,
я выхожу из смертных глаз.

Ты руку протяни, спускаясь по ступеням
в последний из миллиона раз!

Как медленно по шлюзам долголетия
из ослепляющего сна

к нам жизнь спускается и, как чужая, светит
уже не зная, где она,
как засыпающие дети,
невероятна и одна...

И на руках была,
и на воде держала,
и говорила, как звезда,
И молодая мать слезами умывала
лицо, которое единственно стояло,
когда все вещи, как тяжелая вода,
по кровле скатываясь,
падали туда...

Приписка

Теперь молчи, душа, и кланяйся. Как встарь
писатель чудесам, вообразив тропарь –
светящий, радующий дом,
из рук взлетающий легчайшим голубком
внимания и осязанья
через пустые времена –
рыдая, просит наказанья:
Как зимний путь, так ты, душа, темна,
как странствие без оправданья.
ты тени тень,
ты темноты волна,
как плача прочь идет она,
когда свеча нам зажжена
невероятного свиданья!



ПЕРВЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНТРАКТ

* * *

Л етят имена из волшебного рога,
но луг выбирает язык:
разумный – он разума азбуку трогал,
безумный – как слово возник.

Там старшая жизнь не дыша поднимает
египетский уединенный цветок.
Другая смешалась и ветки ломает
и мокрые руки к щекам прижимает...

КОТ, БАБОЧКА, СВЕЧА

Chat séraphique, chat étrange

Ch. Baudelaire

I

Из подозренья, бормотанья,
из замиранья на лету
я слабое повествованье
зажгу, как свечку на свету:
пусть дух, вернувшийся из чащи,
полуглядящий, полуспящий,
свернется на ковре, как кот:
кот серафический молчащий –
и малахит его редчайший
по мне события узнает.

II

Глядит волнующая сила –
вода, не сдавшаяся нам.
Она когда-то выходила
навстречу первым кораблям,
она круг Арго холодела,
как смерть сама, – но *им* глядела,
и вещи его бока
то разжимала, то сжимала,
как музыка свое начало,
как радужка вокруг зрачка.

III

И мы пойдем, как заклинанье,
в кошачье зрение, в нигде,
в тень, отразившую сиянье,
в сиянье тени на воде:
душа венчает поколенья,
как сон, враждебный пробуждению,
венчает бодрствующий день, –
и зеркальце летит над нами,
держа в волшебной амальгаме
лица невиданного тень.

IV

Как если бабочка ночная
влетит – и время повернет,
и, что-то отражать скучая,
то вычеркнет, то отчеркнет –
вас не тянуло обернуться,
расплескивая жизнь из блюда,
туда, *где все произошло*:
где облика немая сцена
неповторимо неизменно
глядит в нарциссово стекло.

V

Но, быть застигнутым рискуя,
он мириады подыскал
порхающих почти вплотную

увеличительных зеркал.
Когда крупца отраженья
внушит ребенку подозренье
о том, что зрительнее глаз, –
скорей, чем мы отдернем руку,
в малине увидав гадюку,
он от себя отдернет нас.

VI

Но горе! наполняясь тенью,
любя без памяти, шагнуть –
и зренье оторвать от зренья,
и свет от света отвернуть! –
и вещество существованья
опять без центра и названья
рассыпалось среди других,
как пыль, пронзенная сознанием
и бесконечным состраданьем
и окликанием живых...

VII

Свеча бесценная, кошачья!
Ты наполняешь этот дом,
с которым память ходит плача,
как сумасшедший с фонарем.
Душа, венчая поколенья, –
не сон, враждебный пробуждению,
а только в сон свободный шаг.
И ты сияешь ночью дачной
в среде, для сердца непрозрачной,
в саду высоком, как чердак.

VIII

И ты сияешь за пределом
той темноты, где я живу,
чтоб темнота похорошела
и сон увидел наяву
сиянье трезвое, густое,
сиянье бденья золотое
и помнящее про него –
как будто вся душа припала
к земле, с которой исчезало
любимейшее существо...

ПЕНИЕ

Заре Александровне Долухановой

Если воздух внести на руках, как ребенка грудного,
в зацветающий куст, к недающимся розам, к сурово
отвечающим веткам,

клянусь, мы увидеть должны
этот голос порфирный, глубокую кровь тишины.
этот свет, принимающий схиму, и в образе ветхом
оживляющий кровь, и живущий по гибнущим веткам
горных роз, выбегающих из-за камней,
и, как к горю, привычных к свободе своей.

Что, не снится ли нам эта тьма, этот куст остролистый,
разговоры огня над паденьем реки каменистой...

– Так быстры мои воды, что ты не найдешь отраженья,
сколько в них не гляди: даже тьмы драгоценной растение
в них не кажется тьмой – об одном она только и стонет:
Кто же, кто нас поднимет, когда нас и небо уронит?
Кто безумного счастья, бессмертного счастья угрозу –
кто же кровь остановит ребенку, сорвавшему розу?
Кто пораненный воздух губами целебными ловит? –
так быстры эти воды,
что никто его не остановит...

Так быстры эти воды, что свет в них не кажется светом,
и кружится дыханье, и мы забываем об этом,
и еще повторяем,
минуя воздушные арки,
разговоры огня
над рекой, уносящей подарки.

ВОДА-КРЕСТЬЯНКА

бабушке

Ты гулюшки над старой люлькой,
где дети нянчили детей,
яйцо с наклеванной скорлупкой
и дух и голубь их ночей,

голубка, запертая крепко,
холопка мельничихи злой –
но к веткам ты подвяжешь клетку
и кормишь хлебом и крупой.

По небу голуби летают,
ребенок спит и дом растет
и вся, как лодка золотая,
к нам госпожа вода плывет.



НЕЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

ВОСЕМЬ ВОСЬМИСТИШИЙ

I

Полумертвый палач улыбнется –
и начнутся большие дела.
И скрипя, как всегда, повернется
колесо допотопного зла.
Погляди же и выкушай страха
да покрепче язык прикуси.
И из рук поругателей праха
полусытого хлеба проси.

II

Погляди, как народ умирает,
и согласен во сне, что умрет.
Как он кнут по себе выбирает –
над собой надругавшийся сброд.
Только шепот, и шепот, и шепот,
как песок по доске гробовой.
Только скверный и слышанный шепот.
Только шепот и вой нанятой.

III

Это имя еще не остыло.
Будет выродку что запятнать.
Еще будет рогожа, чтоб шила
наконец-то в мешке не узнать.
Странно, что оно разум пронзает,
это имя в позоре своем?
Видишь? – все туда землю кидают.
Кинь свою и не думай о нем.

IV

Кто поверит, что братство и счастье
оболгали, мы, как никогда?
что тоской по страданью и страсти
ты была и пребудешь горда,
ты, душа. И, прошедшей ученье
у преданий любви и стыда,
только это соблазн и влечение
и подсказка, живая всегда.

V

Так раскольникам в тьмутаракани
был подсказан огонь, внушена
кровь – чтоб знать, превращаясь в дыханье:
Солнце Правды пронесит Жена.
И любой из сгорающих в хоре
поклонится, как перед душой:
вот, я вышел из времени горя,
и теперь хорошо, хорошо.

VI

Кто забыл, что судьба – это клятва
с неподкупной землею во рту,
ключ, которым замкнулась молитва,
и молчит, и глядит в высоту.
Клятва, твердо замкнувшая двери.
Клятва гласная, нынче и тут,
клятва в вечном и вечном неверье
в то, что коршуны сердце склюют.

VII

Никогда и ничем не сумею
переволить я волю Твою:
как могильную землю, развею,
как ребенка в утробе, убью –
но печалью, судьбой и любовью
как я сердце в себе изменю? –
Ты мной пишешь, как кровью по крови,
как огнем по другому огню.

VIII

Поклянись на огне сострадания,
на позоре, пригубленном тут,
и на чистой воде озаренья –
пусть меня ей тогда обнесут:
на земле, сытой ложью и пьяной,
в час ее надо мной торжества,
в тихом цирке Диоклетиана
не умру, но останусь жива.

В ДУХЕ ЛЕОПАРДИ

O numi, o, numi!

All Italia.

Ни мощный дух, ни изощренный разум,
ни сердце, сокрушенное глубоко,
ни женственное счастье вдохновенья
не посетят тебя и не спасут.

Ты спишь, как пьяный. Твой Савонарола
не верил никогда. Дороже хворост
свозить к костру, чем дать ему при спящих
потосковать, поспорить, погрозить.

Твой Моцарт улыбается убийцам,
и не за деньги – а чтобы остаться
среди живых, а там, когда-нибудь...

Двuruшничают дети. Старики
сами с собою не смеют вспоминать
о том, что делали. Увы, во мне
растет твоя ленивая усмешка,
как опухоль, съедая ткань другую.
А твой Экклезиаст несет такое,
что бабы бы на кухне постыдились –
но стыд давно отсюда отлетел.
А милосердие твое? а кротость?
а многопетое твоё смиреньё? –
кто сыт – тот прав.
Ну, что же ты молчишь?
скажи мне что-нибудь.



* * *

Две книги я несу, безмерно уходя,
но не путем ожесточенья –
дорогой милости, явлением дождя,
пережиданием значенья.

И обе видящие, обе надо мной
летят и держат освещенье:
как ларь летающий, как ящик потайной,
открыта тьма предназначенья.

* * *

Медленно будем идти и внимательно слушать.
Палка в землю стучит,
как в темные окна
дома, где рано ложатся:
эй, кто там живой, отоприте!
и, вздыхая, земля отвечает:
кто там,
кто там...

* * *

Мне часто снится смерть и предлагает
какую-то услугу. И когда,
не разобравшись, говорю я: нет! –
она кивает.
Лестница двойная
ведет ее туда, откуда свет. –
и странно мне и пусто...
Я думаю, что около нее
не проклятое место, где заводит
ребенка, и старуху, и вдовца,
а память, память.
Воздух из путей кратчайших,
падающих как вода –
но вверх.
И вот, не обращаясь к ней,
я улыбаюсь,
и рука уходит
в простую воду легкого лица.

* * *

Преданья о подвижниках похожи
на платье внутреннее кожи.
и сердце слабое себя не узнает,
в огромных складках пропадая.
Но краска их – как кровь, родная,
одежда быстрая, простая,
в которой темнота идет,
пустую лестницу шатая...

* *
* *

Ни ангела, звучащего, как щель,
ни галилейскую свирель
ученика,
и ни святого, в мире
пожившего, как струны на псалтири
под опытной рукой Твоих ужасных встреч
я не могу от музыки отвлечь.

Она живет огромными кругами,
как тысяча колец с бессмертными камнями,
как восхищенье вещества –
и сердце нищего касается едва.

Но падая и складками кивая,
как занавесь тяжелая, живая,
мне обещает думающий дух:
там все звучат, но Ты остался – слух.

ТРИ ЗЕРКАЛА

1. ЖЕНЩИНА У ЗЕРКАЛА

Не снизу, а как из-за некоей двери,
полурастворенной в святящийся зал,
из верных, как детское имя, материй,
как явная правда из многих поверий
является женщина возле зеркал.

И вот она встала, и так посмотрела,
как будто зажмурившись вдела в иглу
крученую нить назначенья и тела –
и тут же забылась, и нитка свистела,
И сотни иголок валились во мглу.

И сотни вещей возвращались с поклоном
к сосновым ветвям, в темноте восхищенным
и так сострадающим этой борьбе
любви воплощенной со взглядом влюбленным –
и думала я, удивляясь себе:

когда бы не стыд и не смертная скука,
не жизнь моя, виснувшая на руках,
я кинула б все пред тобою, как штуку
материи, затканной светом, – и ну-ка!
– взлетающей сразу же скопищем птах.

И каждому б образу я наказала:
ты можешь убить, но иди – и щади.
Ты можешь и здесь – но иди с чудесами,

исчезни, как зеркало перед глазами,
и просто, как сердце, забейся в груди.

И встала она, и руками закрыла
лицо свое: то, что в лице ее было,
что было в руках ее, вся эта тьма
прошла, как судьба над свободным созданием,
и это могло показаться рыданием,
но было видением, сводящим с ума.

2. СТАРЫЙ ДОМ

Дух тысячи бед обитал в коридорах
и шубы наполнены были распадом,
когда, зарываясь в их плачущий ворох,
почуешь, что жизнь твоя вовсе не рядом,

а там, в антресолях, лишенных кого-то,
как бусы и перстни из захороненья,
где внутренний ужас сидит за работой,
чтоб выйти наружу и сделать движенье.

– Послушай меня, я ненужное имя,
я призрак наследственный, сон издалека,
где тени толкаются между живыми
и так же ведут допотопную склоку

с судьбою, вовеки взыскующей жертвы,
живущей вовеки в пространствах просторных.
Так что ж она здесь отразилась, как мертвый,
в подземных озерах желез кроветворных?

Неужто и мы при потушенном свете
допишем историю смерти и плоти?
неужто и я прочитаю, как *эти*,
истлевшую книгу в сыром переплете?

Есть город враждебный внутри человека,
могучие стены, влюбленные в тленье,
и там, поднимая последнее эхо,
болезненно живо открыто растение.

3. ПРОРОК

— Пусть знают, как образ Твой руки ломает,
когда темнота, и кусками вода
летит и летит, и уже не желает,
но падая, вся попадает сюда.

Пусть знают, как страшное сердце ликует
уже на ходу, выходя из ума,
как руки ломает, как в тьму *никакую*
летит она, тьма, ужаснувшись сама.

И жизнь проглотив, как большую обиду,
и там, пропадая из бывших людей,
размахивать будет, как сердцем Давида,
болезнью, и крышей, и кожей моей.

Что было, – то было со мною. И хуже:
со всеми, про всех и у всех на устах
не кончит меня отбивать, как оружие
пощады любой
и согласия на взмах.

ВЕТЕР ПРОЩАНЬЯ

Ветер прощанья подходит и судит.
Видит едва ли и слышит едва.
И, как не знавшие грамоте люди,
мы повторяем чужие слова:

об упокоении сущим и бывшим,
откуда же гнев отбежит и гроза,
и о страданье, глаза не открывшем,
о поруганье, закрывшем глаза.

И обо всем, чего мы не исполним,
чем и во сне не попробуем быть.
– Славно – скажи мне – что мы не запомним
и что тебя не сумеем забыть.

Славно любить это благо живое,
золото, пахнущее дождем.
Если ты боль – то и это с тобою,
если ты сад, где мы счастья не ждем.

* * *

Где-нибудь в углу запущенной болезни
можно наблюдать, удерживая плач,
как кидает свет, который не исчезнет,
золотой влюбленный мяч.

– Я люблю тебя – я говорю. Но мимо,
шагом при больном, задерживая дух,
он идет с лицом неоценимым,
напряженным, словно слух.

Я люблю тебя, как прежде, на коленях,
я люблю твой одинокий путь.
Он гудит внутри и он огонь в поленьях,
он ведет, чтобы уснуть.

А глаза подымет – светлые, не так ли?
и, пересыпая фонари,
золотой иглой попадает в ганглий
мяч, летающий внутри.

БОЛЕЗНЬ

1

Больной просыпался. Но раньше, чем он,
вставала огромная боль головная,
как бурю внутри протрубивший тритон.
И буря, со всех отзываясь сторон,
стояла и пела, глаза закрывая.

И где он едва успевал разглядеть
какую-то малость, частицу приметы –
глядела она. Поднимала, как плеть,
свой взгляд, никогда не любивший глядеть,
но видевший так, что кончались предметы.

И если ему удавалось помочь
предметам, захваченным той же болезнью,
он сам для себя представлялся точь-в-точь
героем, спасающим царскую дочь,
созвездием, спасшим другое созвездье.
Как будто прошел он семьсот ступеней,
на каждой по пленнице освобождая,
и вот подошел к колыбели своей
и сам себя выбрал, как вещь из вещей,
и тут же упал, эту вещь выпуская.

2

Нет, это не свет был, нет, это не свет,
не то, что я помню и думаю помнить.
Я верю, что там, где меня уже нет,
я сам себя встречу, как чудный совет,
который уже не хочу не исполнить.

Я чувствую сна допотопную связь
со всеми, кто был и не выполнил дела.
Я сам исчезаю, и сам я из вас.
Я слушаю долгий и связный рассказ
в огромном раю глубочайшего тела.

Как в доме, который однажды открыт,
где, кажется, все исчезает навеки –
не кто-то читает, и лампа горит,
и в будущем времени свет говорит,
и это ласкает закрытые веки.

О как хорошо тебе в сердце моем,
как нет тебя в нем, как я помню и знаю
твой голос, живущий, как рухнувший дом,
и ветер, и ветер, гудящий о нем,
твоих коридоров гора ледяная.

Я думаю, учит болезнь, как никто,
ложиться на санки, летящие мимо,
в железную волю, в ее решето,
и дважды и трижды исчезнуть за то,
что сердце, как золото, неисчислимо.

Горячей рукой моей жребий согрет –
пустейшая вещь и всегда пропадала –
но вот ее вынут и смотрят на свет,
и видят: любить тебя, где тебя нет, –
вот это удача, каких не бывало.

ПУТЕШЕСТВИЕ ВОЛХВОВ

I

Тот, кто ехал так долго и так вдалеке,
просыпаясь, и вновь засыпая, и снясь
жизнью маленькой, тающей на языке
и вникающей в нас, как последняя сласть,
как открытая связь
от черты на руке
до звезды в широчайшей небесной реке,

II

тот и знает, как цель убывает в пути
и растет накопленье бесценных примет,
как по узкому ходу в часах темноты
пробегают песком пересыпанный свет
и видения тысячи лет
из груди
выбегают, как воздух, и ждут впереди:

III

или некая книга во мраке цветном,
и сама – темнота, но удобна для глаз,
словно зренье, упавшее вместе с лучом,
наконец повзрослело, во тьме укрепясь,
и светясь
пробегают над древним письмом,
как по праздничным свечкам на древе густом;

IV

Или зимняя степь представлялась одной
занавешенной спальней из темных зеркал,
где стоит скарлатина над детской тоской,
чтобы лампу на западе взгляд отыскал –
как кристалл,
преломленный в слезах и цветной.
И у лампы сидят за работой ночной;

V

или, словно лицо приподняв над листом,
вещество открывало им весь произвол:
ясно зрящие камни с бессмертным зрачком
освещали подземного дерева ствол –
чтобы каждый прочел
о желанье своем –
но ни тайны, ни радости не было в нем.

VI

Было только молчанье и путь без конца.
Минералов и звезд перерытый ларец
им наскучил давно. Как лицо без лица,
их измучил в лицо им глядящий конец:
словно в груди колец
не нашарив кольца,
они шли уже *прочь* в окруженьи конца.

VII

– О как сердце скучает, какая беда!
Ты, огонь положивший, как вещь меж вещей,
для чего меня вызвал и смотришь сюда?
Я не лучший из многого в бездне Твоей!
Пожалей
эту бедную жизнь! пожалей,
что она не любила себя никогда,
что звезда
нас несет и несет, как вода...

VIII

И они были там, где хотели всегда.

ГОРНАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Вике Навериани

В ореховых зарослях много пустых колыбелей.
Умершие стали детьми и хотят, чтобы с ними сидели,
чтоб их укачали, и страх отогнали, и песню допели:
– о сердце мое, тебе равных не будет, усни.

И ночь надо мной, и так надо мною скучает,
что падает ключ, и деревья ему отвечают,
и выше растут и, встречаясь с другими ключами...
– о сердце мое, тебе равных не будет, усни.

Когда бы вы спали, вы к нам бы глядели в окошко.
Для вас на столе прошлогодняя сохнет лепешка.
Другого не будет. Другое – уступка, оплошка,
– о сердце мое, тебе равных не будет, усни.

Там старый старик и он вас поминает: в поклоне,
как будто его поднимают на узкой ладони.
Он знает, что Бог его слышит, но хлеба не тронет,
и он поднимает ладони и просит: возьми! –

усни, мое сердце: все камни, и травы, и руки,
их, видно, вдова начала и упала на землю разлуки,
и плач продолжался как ключ, и ответные звуки
орешник с земли поднимали и стали одни...

о, жить – это больно. Но мы поднялись и глядели
в орешник у дома, где столько пустых колыбелей,

Другие не смели, но мы до конца дотерпели.
– о сердце мое, тебе равных не будет, усни.

И вот я стою и деревья на мне как рубаха.
Я в окна гляжу и держу на ладонях без страха
легчайшую горсть никому не обидного праха.
О сердце мое, тебе равных не будет, усни.

УТРО В САДУ

Э то свет или куст?

я его отвожу и стою.

Что держу я – как ветер, держу и почти не гляжу
на находку мою.

Это просто вода, это ветер, качающий свет.

Это блюдце воды, прочитающей расположение планет.

Никого со мной нет, этот свет... наконец мы одни.

Пусть возьмут, как они,

и пусть пьют и шумят, как они.



ВТОРОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНТРАКТ

ВЗГЛЯД КОТА

I

Когда, прекрасный кот, ты пробуешь в окне
пространства опытность и силу,
внутри как свет зажгут и размахнут во мне
живое, мощное кадило.

Я думаю, что мир не глядывал в букварь
и чуда письменность напрасна.
Но чуть внимательна уверенная тварь –
и жизнь, как лестница, опасна,

когда с презрением и чашей золотой
твой взгляд спускается по сходням –
и сердце падает мое перед тобой,
как пред служителем Господним.

II

И вот в тебе тоска, как в зеркале, гостит,
в зеркальном кубке крупной грани,
и я раба твоих воспоминаний:
я расстилаю им широкие пути
в пустующей стране, где можно тяготенье,
как дом забитый, обойти,
и невесомости живое искушенье –
горящие шары, молчащие почти.

Так лучшие часы сосредоточат нас
на острие иглы спасенья,
где мучится любовь, и где впадает зренье
в многоволнуемый алмаз.
И жизнь глядит на жизнь, уничтожая грани,
и все глаза твоих медуз –
один укол, одна анестезия ткани,
один страдающий союз.

III

Походкою кота (как бы само пространство
позволило себе забытую игру)
ты, речь моя, иди, ты между трезвых пьянствуй
с огнем, горящим на ветру.
Неси свою свечу, как он, без недоверья,
как правда видит жизнь, когда она одна:
для счастья умных сил, для восхищенья зверя
тебе опасность вручена.



АЗАРОВКА

сюита пейзажей

1. РОДНИК

И первую – тем, кто толпится у входа,
из внутренних глаз улыбаясь тебе,
и пьет, и не выпьет влюбленную воду –
целебную воду любви о себе.

И свет троеручный жаленья и славы
и боли, полюбленной до конца,
стоит над тобой, и лучатся суставы
круглится ладонь, накрывая птенца.

И хочется мне измененную чашу
тебе поднести, баснословный фиал,
звучащий, как сердце промытое наше,
чтоб Моцарт Горация перепевал.

2. ПОЛЯНА

Здесь было поместье, и липы вели
туда, где Эрасты читали Фобласов,
а ратное дело стояло вдали.
Как мелкие розы, аккорды цвели
и чудно дичали Расиновы фразы.

Виньетка в стране, где не рос виноград!
но все же когда-нибудь это умели,
когда соловей задохнулся, как брат,
обрушивши в пруд неухоженный сад,
над Лизой, над лучшей из здешних Офелий.

3. В КУСТАХ

— В едь и я — это выйдет из слуха, из леса сухого:
— жила я когда-то.
Дурочкой здешней была я, к работе негодной, и только
что воду носила в родительский дом по ступеням
богатым.
Так и жила я и воду чужую носила, а можно ли пить,
не спросила.
Старая женщина с сердцем тяжелым, как капля на ягоде,
вдруг надо мной наклонилась:
Пора, говорит, собирайся.
и повезли,
и колеса стучали по бревнам горбатым.
Плакало, капало, в доме скрипело, но мы-то уже не слышали:
мы медленно, медленно траву лечебную из темноты выбирали:
буквицу, донник, поменник...

4. ИВЫ

Серебрянных, белых, зеленых, седых,
то выдохнувших, то вобравших дыханье,
но круглых и круглых над ходом воды,
над бегом и холодом и задыханьем!

другим и велят темноту приподнять,
но их никогда не попросят об этом –
всегдашних хранительниц хмурого дня,
кормилиц ненастного сильного света.

5. ХОЛМЫ

Когда победитель, не веря себе,
черту переходит и смотрит снаружи,
он видит, что там еще дело в борьбе,
и бич состязания уже и уже.

Там скачки в честь вечного дня Ильина,
в честь внутренних гроз, образующих почву,
зажмурив глаза и разжав стремяна,
роняя с повозки небесную почву.

И внутренний к нам выбегает народ
и сыплет цветами изорванных денег
оттуда, где села, где мальчик идет,
рассеянно свищет и хлещет репейник,

где тысяча сот коробов высоты,
и хлещет надежда, и ломит запястье,
и падает дух, и роняет цветы,
сраженный обширностью замысла счастья.

6. ВЫСОКИЙ ЛУГ

На медленном зное подруга лугов
и света подруга на медленном зное
лежит – и уходит лицо глубоко
в повисшее зеркало передвижное.

Пространство похоже на мысли больных:
оно за последние двери ни шагу:
– Я встану, я встану с цветов луговых,
но ты расскажи мне, куда же я лягу...

И сердцебиенье нагнется над ней,
головокруженье поклонится в ноги:
ты леж летишь, ты летишь на спине,
летишь, как убогий на общем пороге.

7. ДЕРЕВНЯ

Как если ребенок тому, что живет,
захочет найти инструмент многоствольный,
и клавиши гладит, и просит, и бьет –
но все не похоже; и вот, недовольный,
он крышку захлопнет и сам запоет,

так эти дома выступают невольно
из темных деревьев, и ночь настает.

Они, как лампы, висят на холме.
Их, кажется, семь. Но безмерно спокоен
их счет, и себя умножает в уме.
А тот, кто снаружи, считать недостоин.

Они безымянны, как имя одно.
В них мертвые входят, когда их попросят,
и воют собаки, но это выносят,
и видят луну, как большое окно.

откуда посмотрят и сниться придут,
и масла в висячие чаши нальют.

8. ВЕЩАЯ ПТИЦА

А там, далеко, где бормочет вода
нерусскую речь, и глаза человека
ни зги не увидят, и, рухнув туда,
глухим и немым возвращается эхо,

там вещая полночь по зарослям ищет
и черный манок вынимает, и свищет –

и птица летит, выбираясь с трудом,
как будто ища позабытые двери.
Себя ли ей хочется бросить, как дом
свои времена обогнавшей потери?

Но, чтоб ей не сбиться, за нею идут,
и черный фонарь перед нею несут.

– О Господи, Господи, тело мое
давно уже стало подобием щели,
в которую смотрят на дело свое
те силы, какие меня разглядели, –

и вот, поднимаясь и падая в нем,
я переполняю летающий дом!

9. ЛЕСНАЯ ДОРОГА

И пахнут цветы тяжелей, чем всегда.
И приоткрывая запретную створку,
лесная дорога уходит туда –
к жилищам невидимых, к птичьему Орку,

где речка поет с неразомкнутым ртом
про прошлую жизнь без названья и цели
и грешные души вздыхают о том,
что варят для нас приворотное зелье.

И столько пропавшей и тайной любви
замешено здесь на подпочвенной влаге,
что это, как кровь, отзовется в крови,
дорогу покажет и крикнет в овраге.

10. ОБРАГ

И так уже страшно – и все же туда,
немного помедлив, как жидкость в воронке,
опушек и просек цветная вода
сбегает и гибнет, и ходит по кромке.

Там ягода яда глядит из куста
и просится в губы, и всех зазывает
в родильную тьму, где зачатые конца
сама высота по канве вышивает.

11. НЕБО НОЧЬЮ

И это преддверье Плеяд и Гиад,
цветной красоты, распростившейся с цветом.
По узкому ходу мы входим назад –
в иголку, трудящуюся над предметом.

Ныряя в глубокую ткань, и потом
сверкая над ней острием бесконечным –
над черным шитьем, говорящим о том,
что нет никого, кто звездой не отмечен.

12. САД

— И дом поджигают, а мы не горим.
И чашу расколют – а воздух сдвигает
и свет зажигает, где мрак несветим.
Одежду отнимут – а мы говорим,
и быстро за нами писцы поспевают
И перья скрипят, и никто не устал
писать и описывать ту же победу,
и вишни дрожит золотой Гулистан,
и тополь стоит, как латыни стакан,
и яблоня-мать, молодая Ригведа.



ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА НА ЕГО КАРТИНЕ

Вся красота, когда смеется небо,
и вздох земли, когда сбегает снег,
все это ляжет вместе, как солома,
и отворится благодатный хлев.

Пускай на крыше ангелы танцуют
и камни драгоценные целуют
и убегают к верхнему углу
и с верхнего угла бегут сверкая,
серебряные ветки рассыпая
и посохи меняя на бегу.

И пусть все это отойдет во мглу,
пусть отвернет смущенное лицо.

Внизу, как можжевельники при ветре,
друг друга будут дети обнимать,
а по бокам волы, волы – созвездья
трудящейся земли. Они ложатся,
как только что рожденные телята:
они невидимую чувствуют мать.

А пастухи, родители детей,
подходят медленно, по-деревенски.

Темным-темны их бедные одежды,
и эта тьма почти от нас идет
и потому почти приводит к нам,
как будто Лот, идущий из Содома...

Но возле пастухов, оборотясь,
стоит художник. Sapienti sat.
Все исчезает, как висячий сад,
и он один стоит в степи пустой.

Его у горла сложенные руки
как будто держат припасенный дар –
но в этом сомневаются глаза.
Он более, чем мы, любим собой.
Он говорит, как свет глухонемой:

– Ты, мысль моя, ты, ясная Кифера,
ты, розы поднебесной привиденье,
ты, как припев, не впору моему
большому мраку: подойдя к нему
ты повторяешь эти очертанья –
так в зеркале лицо мое встает,
и то, что там, себе его берет,
и, на себя накинув плоский образ,
томится в нем, как птица под платком –
и, сбросив, не нуждается ни в ком.

Кому ты хочешь поднести охапки
цветов и улыбнувшихся вещей
и привести замученных детей,
чтобы они смеялись, как вода,
когда качнут наполненное блюдо,
и все сложить у ног, и улыбнуться –

тот не Лаван, и с ним не делят стад.
Верни ему весь одичавший сад –
в цветной воде, в утешенных слезах
Содом, перерожденный на глазах, –
все будет ложь, и ничего как ложь.
Ты зеркало пустое принесешь.

Есть человек, и он, как мир живой,
и больше мира – и никто сюда
его не вызвал. Я стою, как вой.
Он – это то, что в зеркале всегда.
Он – это я, подуманный тобой.
И он стоит, как образ соляной,
и не идет за всеми.

Без меня
мой дар лежит на собственной могиле,
как во пленница на похоронах:
она как будто землю разрывает,
откидывает прозвища, приметы,
походку, обхождение, привычки,
она раскапывает свежий ход
в тяжелой глине...

и передает
тяжелый факел темноты
туда, где свет, как кровь, идет, –

весна идет,
и ясная Кифера,
и с нею в парусах архипелаг,
и ранней сфере отвечает сфера,
и первой розой перевернут мрак –

и я иду, беднее, чем другие,
в одежде темной и темнее всех,
с больной улыбкой, как цветы больные,
как вздох земли, когда сбегает снег.

ЛЕГЕНДА ДЕСЯТАЯ

ИАКОВ

Он быстро спал, как тот, кто взял
хороший посох – и идет
сказать о том, как он искал,
и не нашел, и снова ждет;
что он следит, как пыль стоит,
не окружая никого,
что небо, круглое на вид,
не свод, а куб – и он гремит,
и сердце есть внутри него.

Он спал и спал, зажав в руке
едва надкушенный кусок
пространств, гремящих вдалеке,
и тьмы, бегущей на восток.
Другие жили, как поток.
А он не мог сглотнуть глоток
от новостей – и спал, как мог,
спал исчезая, спал в песке,
спал, рассыпаясь, как песок –
и Бог,
который ждать не мог,
изнемогая падал в нем,
охваченный внезапным сном.

ЛЕГЕНДА ОДИННАДЦАТАЯ

УЖИН

Никогда, о Господи, мой Боже,
этот ветер, знающий, как мы,
эту вечно чующую кожу
я не выну из глубокой тьмы.

За столом сидели и молчали.
Время шло, куда глаза глядят.
Ведро деревянные стучали.
Далеко, в колодцах, плавал сад.

Кто-то начал говорить и кончил.
Остальные бросились к нему,
умоляя, чтобы он отсрочил
то, что с самого начала ночи
шло к нему по ближнему холму.

Но уже вошло и встало время.
Сердце билось, кажется, везде –
как ведро, упущенное всеми,
на огромной траурной воде...

ЛЕГЕНДА ДВЕНАДЦАТАЯ

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ

Уже не оставалось никого;
ни мальчика, глядящего на воду,
когда другие мальчики играют,
и видящего странные растения,
которым подходили имена,
похожие на дым по воскресеньям:
смоковницы, маслины, вай...

ни юноши, который был, как слух,
и шел, и шел, опережая просьбу...

ни мужа, разделившего с медведем
последний хлеб, и ставящего стены
на том холме, исполненном, как сон...

ни старца, о котором говорили,
что ангелы беседуют при нем. —

итак, не оставалось никого.
Ни прошлого наставника монахов,
учителя мужающей земли,
ни будущего, перед кем мы сложим
тяжелые дела свои и скажем:
мы сами не осмелимся, но ты
проси за нас. Душа похожа на
широкий круг глядящих на событие:
оно идет, оно еще в слезах —
и в первом счастье, требующем счастья,

оно уходит. Это как цветок.
И кто его возьмет, когда не ты,
к твоим цветам, стоящим на коленях? –
проси за нас.

Но в этот поздний час
уже не оставалось никого.

Был хвойный лес, и папоротник, и хвощ,
и птичий крик, и горькие кусты,
и воздух деревянный, как лучина,
горящая еще за десять дней.
Там кто-то шел и думал о пути.
И вдруг не выдержал – и поклонился
тому, что в сердце у него сбылось. –

и тот, кого уже не оставалось,
кто был уже ненастье, хвойный лес,
и вздрагивающий, и ждущий воздух,
кто был глубокий искренний амбар
таинственного северного хлеба –

спокойно опустился на колени
перед поклоном

и остался виден
издалека, и всюду, и внутри.

АЛАТЫРЬ

Кто знает, не снилось ли это ему?
Воздвижение было, когда никому
нельзя оказаться в лесу – под ногами
трещала земля, как надломленный сук,
и гады лизали таинственный камень,
и камни другие росли, как бамбук. –

и он просыпался. Но змеи спешили,
как только что снилось, одна за другой,
деревья тяжелыми ветками били,
держали его и мерещились – или
и то, что он жил, и что все они жили
казалось по стеклам бегущей водой?
и ныли суставы от мысли одной.

Но сердце голодное вдоволь накормит
кто дальше пойдет в допотопную тьму,
и камень увидит, и ляжет у корня,
и счастье конца прикоснется к нему.

– Когда мне душа, как случайный прохожий,
кивнет и уходит под ливнем – смотри:
прекрасна земля Твоя, Господи Боже,
но лучше я выйду и буду внутри,

и буду, как дождь, и останусь надеждой
проснуться под звуки другого дождя,
и снова лежать, и расти над одеждой,
и спать бесконечно, и спать уходя...

Ненастная полночь в лесу бушевала,
и все, что хотело, сходило на нет,
стонала земля и душа тосковала,
и камень кусками раскидывал свет...

и спать бесконечно, и спать уходя,
и спать, приближаясь к чудесному камню,
и спать, прикасаясь живыми руками
к живому сиянью ночного дождя!

СКАЗКА

Так она лежит, и говорят,
что над ней горит не убывая
маленькая свечка восковая
и окно ее выходит в сад.

Странно, или сердце рождено,
чтобы так лежать? веретено
на полу валяется и снится.
И она лежит, как тихий вход
в темный сад, откуда свет идет
и скрипит по древним половицам.

Глубоко, как сердце, глубоко,
как глубокий обморок, и глубже,
в глубине пропущенных веков
спи, голубка, долго, глубоко:
кто узнает, что идет снаружи?

Если это скрип и это свет,
понемногу восходящий кверху –
сердце рождено, чтоб много лет
спать и не глядеть, как ходит свет
и за веткой огибает ветку.

Никому не снится этот сон:
он себе и дом, и виноградник,
и дорога, по которой всадник
скачет к ней, и этот всадник – он.

– Много я прошу, но об одном
выслушай по милости огромной
и тогда разрушь меня, как дом,
непригодный для души бездомной:

это будет то, что я хочу.
Остальное бедно и обидно.
И задуй мне душу, как свечу,
при которой темноты не видно.

СНОВИДЕЦ

В той темноте, где иначе как чудом
не проберешься в крутящихся стенах,
там, где свеча, загораясь под спудом,
изнемогает в камнях драгоценных –

многие встанут, и многие лица
преобразятся счастливой тревогой:
не обо мне ли? – но, выбрав сновидца,
дух возвращается прежней дорогой.

И начинаются длинные ходы,
своды и лестницы, и галереи,
медленный шаг из глубокой породы,
где самородки и свечи горели.

Или, как ветер плодового сада
яблоком пахнет, уже погружаясь
в дикие степи, – так первого взгляда
я исполняю бессмертную жалость?

Тайный магнит, сердцевина преданья,
волны влеченья, горящие в мире,
камни и странствия и предсказанья
подняты до неба в темном потире!

Падает воля, и тело не хочет,
и не увидит. Но скажет, кончая:
нет ничего, чего жизнь не пророчит,
только тебя в глубине означая!

* * *

— Как упавшую руку, я приподнимаю сиянье,
и как гибель стою, и ее золотые края, —
переполнив, целую.

Ибо ваше занятие — вниманье.

Милость — замысел мой.

Счастье — одежда моя.



ПОСТСКРИПТУМ

СТАРЫЙ ПОЭТ

Он ходит по комнате и замерзает.
Но странно подумать, как зябнет пальто.
И стужа за окнами напоминает
вино, о котором не помнит никто.

Глоток – и начнутся чудесные вещи:
откроется клетка, и птица дождя
посмотрит на комнату по-человечьи,
как будто страницу закапали свечи,
как будто кивают, в слезах уходя.

Тогда он и вспомнит, кто друг и виновник,
и гость и хозяин и горе его,
кто плакал, внутри обрывая шиповник,
и требовал все, и не взял ничего.

Какое же это печальное дело!
не слово, не слово, не тысяча слов,
а то, что душа, как теперь, холодела,
когда открывался цветок холодов.

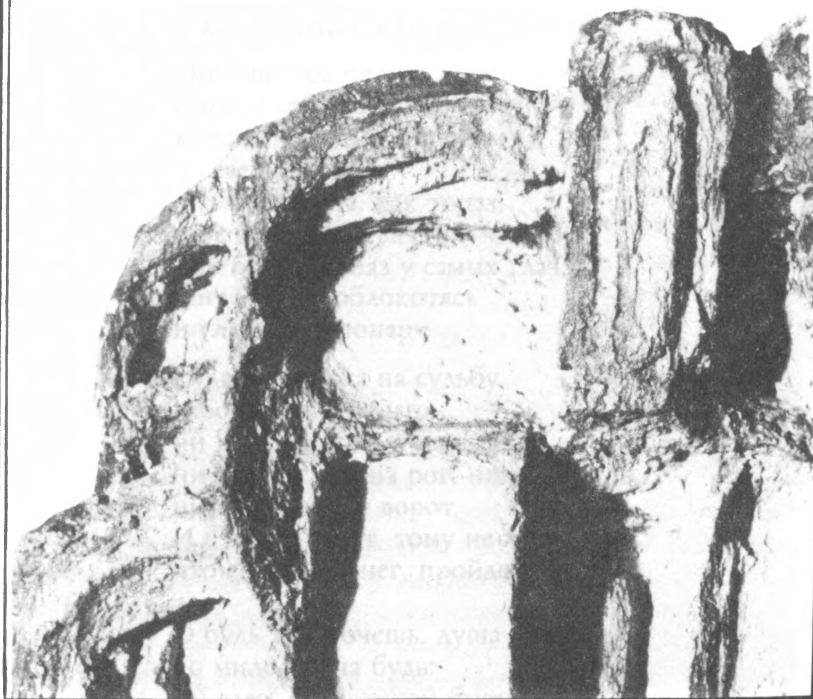
– Прощай и запомни, прощай и сознайся:
ничто никогда не достойно себя. –

И в облаке боли, во тьме постоянства
я вновь улыбнусь и кивну уходя.

Но ты повторяй: это то же и то же,
что было, и будет, и полно по край.
А я уже там, где никто не поможет.
Но ты повторяй,
повторяй,
повторяй...

ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА

1978 – 1982



*Светлой памяти
Владимира Ивановича Хвостина*

ВСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Послушайте, добрые люди,
повесть о смерти и любви.
Послушайте кто хочет,
ведь это у всех в крови.
Ведь сердце, как хлеба, ищет
и так благодарит,
когда кто-то убит
и кто-то забыт
и кто-то один, как мы.

Монашеское платье
сошьем себе из тьмы,
холодной воды попросим
и северной зимы:
она прекрасна, как топаз,
но с трещиной внутри.
Как белый топаз у самых глаз,
когда сидят облокотясь
и глядят на фонари.

Судьба похожа на судьбу
и больше ни на что:
ни на глядящую к нам даль,
ни на щит, ни на рог, ни на Грааль,
ни на то, что у ворот.
И кто это знает, тому не жаль,
что свет, как снег, пройдет.

О будь кем хочешь, душа моя,
но милосердна будь:
мы здесь с котомкой бытия

у выхода медлим – и вижу я,
что всем ужасен путь.

Тебе понравятся они
и весь рассказ о них.
Быть может, нас и нет давно,
но, как вода вымывает дно,
так мы, говоря, говорим одно:
послушайте живых!

Когда я начинаю речь,
мне кажется, я ловлю
одежды уходящий край
и, кажется, я говорю: Прощай,
не узнавай меня, но знай,
что я, как все, люблю.

И если это только тлен,
и если это в аду –
я на коленях у колен
стою и глаз не сведу.
И если дальше говорить,
глаза закрыть и слова забыть
и руки разжать в уме –
одежда будет говорить,
как кровь моя, во мне.

Я буду лгать, но не обрывай:
Я ведь знаю, что со мной,
я знаю, что руки мои в крови
и сердце под землей.

Но свет, который мне светом был
и третий свет надо мной носил
в стране небытия -
был жизнью моей, и правдой был,
и больше мной, чем я.

ВСТУПЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Где кто-то идет – там кто-то глядит
и думает о нем.

И этот взгляд, как дупло, открыт,
и в том дупле свеча горит
и стоит подводный дом.

А кто решил, что он один,
тот не знает ничего.
Он сам себе не господин –
и доволен про него.

Но странно, что поступок
уходит в глубину
и там живет, как Ланцелот,
и видит, что время над ним ведет
невысокую волну.

Не знаю, кто меня смущал
и чья во мне вина –
но жизнь коротка, но жизнь, мой друг, –
стеклянный подарок, упавший из рук.
А смерть длинна, как все вокруг,
а смерть длинна, длинна.

Одна вода у нее впереди,
и тысячу раз мне жаль,
что она должна и должна идти,
как будто сама – не даль.
И радость ей по пояс,
по щиколотку печаль.

Когда я засыпаю,
свой голос слышу я:
– Одна свеча в твоей руке,
любимая моя! –

одна свеча в ее руке,
повернутая вниз:
как будто подняли глаза –
и молча разошлись.

ВСТУПЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Я северную арфу
последний раз возьму
и музыку слепую,
прощаясь, обниму:
я так любила этот лад,
этот свет, влюбленный в тьму.

Ничто не кончится собой,
как говорила ты, –
ни злом, ни ядом, ни клеветой,
ни раной, к сердцу привитой,
ни даже смертью молодой,
перекрестившей над собой
цветущие кусты.

Темны твои рассказы,
но вспыхивают вдруг,
как тысяча цветных камней
на тысяче гибких рук, –
и видишь: никого вокруг,
и только свет вокруг.

Попросим же, чтобы и нам
стоять, как свет кругом.
И будем строить дом из слез
о том, что сделать нам пришлось
и вспоминать потом.

А ты иди, Господь с тобой,
ты ешь свой хлеб, свой путь земной –

неизвестно куда, но прочь.
И луг тяжелый и цветной
за тобой задвигает ночь.

И если нас судьба вручит
несчастнейшей звезде –
дух веет, где захочет.
А мы живем везде.



1. РЫЦАРИ ЕДУТ НА ТУРНИР

И что ж, бывают времена,
бывает время таким,
что слышно, как бьется сердце земли
и вьется тонкий дым.
Сердцебиенье лесной земли
и славы тонкий дым.
И остальные скроются
по зарослям лесным.

Вот всадники как солнце,
их кони – из темноты,
из детской обиды копыта и копья,
из тайны их щиты.
К Пятидесятнице святой
они спешат на праздник свой,
там гибель розой молодой
на грудь упадет с высоты.

Ты помнишь эту розу,
глядящую на нас?
мы прячем от нее глаза,
она не сводит глаз.

А тот, кто умер молодым,
и сам любил, и был любим,
он шел – и все, что перед ним,
прикосновением одним
он сделал золотом живым
счастливей, чем Мидас.

И он теперь повсюду,
и он – тот самый сон,
который смотрят холм и склон
небес сияющих, как он,
прославленных, как он,

Но жизнь заросла, и лес заглох,
и трудно речь вести.
И трудно мне рукой своей
теней, и духов, и зверей
завесу развести.

Кто в черном, кто в лиловом,
кто в алом и небесном,
они идут – и, как тогда,
сквозь прорези глядят туда,
где роза плещет, как вода,
в ковше преданья тесном.

2. НИЩИЕ ИДУТ ПО ДОРОГАМ

Хочу я Господа любить,
как нищие его.

Хочу по городам ходить
и Божьим именем просить,
и все узнать, и все забыть,
и как немой заговорить
о красоте Его.

Ты думаешь, стоит свеча,
и пост – как тихий сад?
Но если сад – то в сад войдут
и веры, может, не найдут,
и свечи счастья не спрядут
и жалобно висят.

И потому ты дверь закрой
и ясный ум в земле зарой –
он прорастет, когда живой,
а сам лежи и жди.

И кто зовет – с любимым иди,
любого в дом к себе введи,
не разбирай и не гляди –
они ужасны все,
как червь на колесе.

А вдруг убьют?
пускай убьют:
тогда лекарство подадут
в растворе голубом.
А дом сожгут?
пускай сожгут.
Не твой же это дом.

3. ПАСТУХ ИГРАЕТ

В геральдическом саду
зацветает виноград.
Из окна кричат:
– Иду! –
и четырнадцать козлят
прыгают через дуду.

Прыгают через дуду
или скачут чрез свирель –
но пленительней зверей
никогда никто не видел.
Остальных Господь обидел.
А у этих шерстка злая –
словно бездна молодая
смотрит, дышит, шевелит.
Тоже сердце веселит.

У живого человека
сердце бедное темно.
Он внутри – всегда калека:
будь что будет – все равно.
Он не сядет с нами рядом,
обзаведясь таким нарядом,
чтобы цветущим виноградом
угощать своих козлят.

Как всегда ему велят.

4. СЫН МУЗ

И странные картины
в закрытые двери войдут,
найдут себе название
и дело мне найдут.
И будут разум мой простой
пересыпать, как песок морской,
то раскачают, как люльку,
то, как корзину, сплетут.
И спросят:
Что ты видишь?
И я скажу:
Я вижу,
как волны в берег бьют.

Как волны бьют, им нет конца,
высокая волна –
ларец для лучшего кольца
и погреб для вина.
Пускай свои виденья глотает глубина,
пускай себе гудит как печь,
а вынесет она –

куда?
куда глаза глядят,
куда велят –
мой дух, куда?
откуда я знаю, куда.
Ведь бездна лучше, чем пастух,
пасет свои стада:
невидимые никому,

они взбегают по холму,
играя, как звезда.
Их частый звон,
их млечный путь,
он разбегается, как ртуть,
и он бежит сюда –

затем, что беден наш народ и скуден наш рассказ,
затем, что все сюда идет и мир забросил нас –

Как бросил перстень Поликрат
тому, что суждено, –
кто беден был,
а кто богат,
кто войны вел,
кто пас телят –
но драгоценнее стократ
одно летящее *назад*
мельчайшее зерно.

Возьми свой перстень, Поликрат,
не для того ты жил.
Кто больше всего забросил,
тот больше людям мил.
И в язвах черных, и в грехах
он – в закопченных очагах
все тот же жар, и тот же блеск,
родных небес веселый треск.

Там волны бьют, им нет конца,
высокая волна –
ларец для лучшего кольца
и погреб для вина.

Когда свои видения глотает глубина,
мы скажем:
нечего терять –
и подтвердит она.

И мертвых не смущает
случайный бедный пыл –
они ему внушают
все то, что он забыл.
Простившись с мукою своей,
они толпятся у дверей,

с рассказами, с какими
обходят в Рождество –
про золото и жемчуг,
про свет из ничего.

5. СМЕЛЫЙ РЫБАК

КРЕСТЬЯНСКАЯ ПЕСНЯ

Слышишь, мама, какая-то птица поет,
Сбудто бьет она в клетку, не ест и не пьет.

Мне говорил один рыбак,
когда я шла домой:
– Возьми себе цепь двойную,
возьми себе перстень мой,
ведь ночь коротка
и весна коротка
и многие лодки уносит река.

И, низко поклонившись,
сказала я ему:
– Возьму я цепь, мой господин,
а перстень не возьму:
ведь ночь коротка и
весна коротка
и многие лодки уносит река.

Ах, мама, все мне снится сон:
какой-то снег и дым,
и плачет грешная душа
пред ангелом святым –
ведь ночь коротка и весна коротка
и многие лодки уносит река.

6. РАНЕНЬИЙ ТРИСТАН ПЛЫВЕТ В ЛОДКЕ

Великолепие горит
 жемчужиною растворенной
 в бутылки темной, засмоленной.
 Но в глубине земных обид
 она как вал заговорит,
 как древний понт непокоренный.

Ты хочешь, смертная тоска,
 вставать, как моли из тумана,
 чтобы себя издалека
 обнять руками океана.
 Серебряною веткой Брана
 и вещим криком тростника
 смущая слух, века, века
 ты изучаешь невозбранно:
 как сладко ноющая рана,
 жизнь на прощанье широка.

Мне нравится Тристан, когда
 он прыгает из башни в море:
 поступок этот – как звезда.
 Мы только так избегнем горя,
 отвагой чище, чем вода.
 Мне нравится глубоких ран
 кровь, украшающая ласку, –
 что делать? я люблю развязку,
 в которой слышен океан,
 люблю ее любую маску.

Плыви, как раненый Тристан,
 перебирая струны ожидания,

играя небесам, где бродит ураган,
игру свободного страдания.

И малая тоска героя
в тоске великой океана –
как деревушка под горою,
как дом, где спать ложатся рано,
а за окном гудит метель.

метель глядит, как бледный зверь,
в тысячеокие ресницы,
как люди спят, а мастерицы
прядут всеобщую кудель

и про колхидское руно
жужжит судьбы веретено.

– Его не будет.
– Все равно.

7. УТЕШНАЯ СОБАЧКА

Прими, мой друг, устроенную чудно
собачку милую, вещицу красоты.

Она из ничего. Ее черты
суть радуги: надежные мосты
над речкой музыки нетрудной –
ее легко заучишь ты.

По ней плывет венок твой новый, непробудный –
бутоны свечек, факелов цветы.

Она похожа на гаданье,
когда стучат по головне:
оттуда искры вылетают,
их сосчитают,
но уже во сне,
когда
они
свободно расправляют
свои раскрашенные паруса,
но их не ветры подгоняют –
неведомые голоса.

То судна древние, гребные.
Их океаны винно-золотые
несут на утешенье нам
вдоль островов высоких и веселых,
для лучшей жизни припасенных,
по острым, ласковым волнам.

О чем шумит волна морская?
что nereида говорит?
как будто рук не выпуская
нас кто-нибудь благодарит:

– Ну, дальше, бедные скитальцы!
У жизни есть простое дно,
и это – чистое, на пяльцы
натянутое полотно.

Не зря мы ходим, как по дому,
по ненасытной глубине,
где шьет задумчивость по золотому,
а незабвенность пишет на волне
свои картины и названья:

вот мячик детства,
вот свиданье,
а это просто зимний день,
вот музыка, оправленная сканью
ночных кустов и деревень.
Заветный труд. Да ну его.
И дальше, липа.
Это липа у входа в город.
Рождество.

А вот – не видно ничего.
Но это лучшее, что видно.

Когда, как это ни обидно,
и нас не станет -
очевидно,
мы будем около него ...

Прими, мой друг, моей печали дар.
Ведь красота сильней, чем сердце наше.
Она гадательная чаша,
невероятного прозрачный футляр.

8. КОРОЛЬ НА ОХОТЕ

Куда ты, конь, несешь меня?
 Неси, куда угодно:
 душа надежна, как броня,
 а жизнь везде свободна

сама собой повелевать
 и злыми псами затравлять,

восточным снадобьем целить
 или недугом наделить,

медвежьим, лисьим молоком
 себя выкармливать тайком,

и меж любовниками лечь,
 как безупречный меч.

И что же – странная мечта! –
 передо мной она чиста?
 не потому, что мне верна,
 а потому, что глубина
 неистоцима;
 высота
 непостижима;
 за врата
 аидовы войдя, назад
 никто не выйдет, говорят.

О, воля женская груба,
 в ней страха нет, она раба

упорная ...
мой друг
олень,
беги, когда судьба
тебе уйти. Она груба
и знает все и вдруг.

А слабость – дело наших рук.

9. КАРЛИК ГАДАЕТ ПО ЗВЕЗДАМ

ЗАОДНО О ПРОКАЗЕ

Прокказа, целый ужас древний
вмещается в нее одну.

Само бессмертье, кажется, ко дну
идет, когда ее увидит:
неужто небо *так* – обидит,
что человека человек
как смерть свою возненавидит?

Но и невидимое глазу,
зло безобразней, чем проказа.

Ведь лучший человек несчастных посещает,
руками нежными их язвы очищает
и служит им, как золоту скупец:
они нажива для святых сердец.
Он их позор в себя вмещает,
как океан – пустой челнок,
качает
и перемещает
и делает, что просит Бог ...

Но злomu, злomu кто поможет,
когда он жизнь чужую гложет,
как пес – украденную кость?
зачем он звезды понимает?
они на части разнимают.
Другим отрадна эта гроздь.
А он в себя забит, как гвоздь.
Кто этикие гвозди вынимает?

Кто принесет ему лекарства
и у постели посидит?
кто зависти или коварства
врач небрезгливый?
Разве стыд.
И карлик это понимает.

Он оттолкнул свои созвездья,
он требует себе возмездья

(содеянное нами зло
с таким же тайным наслаждением,
с каким когда-то проросло,
питается самосожженьем):

– Я есть,
но пусть я буду создан
как то, чего на свете нет,
и ты мученья чистый свет
прочтешь по мне, как я по звездам! –

и вырывался он из мрака
к другим и новым небесам
из тьмы, рычащей, как собака,
и эта тьма была – он сам.

10. НОЧЬ

ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА ВСТРЕЧАЮТ В ЛЕСУ ОТШЕЛЬНИКА

Любовь, охотница сердец
натягивает лук.
Как часто мне казалось,
что мир — короткий звук:
похожий на мешок худой,
набитый огненной крупой,
и на прицельный круг ...

Сквозь изгородь из роз просовывая руку,
прекраснейший рассказ воспитывает муку,

которой слаще нет: огромный алмадин
по листьям катится, один и не один.

Что более всего наш разум восхищает?
Что обещает то, что разум запрещает:

душа себя бежит, она нашла пример
в тебе, из веси в весь бегущий Агасфер ...

Скрываясь от своей единственной отрады,
от крови на шипах таинственной ограды,

не сласти я хочу: мой ум ее бежит,
другого требуя, как этот Вечный Жид ...

Но есть у нас рассказ, где мука роковая
шумит-волнуется, как липа вековая.

Смерть – госпожу свою ветвями осеня,
их ночь огромная из сердцевины дня

растет и говорит, что жизни не хватает,
что жизни мало жить. Она себя хватает

над самой пропастью – но, разлетясь в куски,
срастется наконец под действием тоски.

Итак, они в лесу друг друга обнимают.
Пес охраняет их, а голод подгоняет

к концу. И в том лесу, где гнал их страх ревнивый,
отшельник обитал, как жаворонок над нивой.

Он их кореньями и медом угостил
и с подаянием чудесным отпустил –

как погорельцев двух, сбравших на пожар.
И занялся собой. Имел он странный дар:

ему являлся вдруг в сердечной высоте
Владыка Радости, висящий на Кресте.

11. МЕЛЬНИЦА ШУМИТ

О счастье, ты простая,
простая колыбель,
ты лыковая люлька,
раскаченная ель.
И если мы погибнем,
ты будешь наша цель.
Как каждому в мире,
мне светит досель
под дверью закрытой
горящая щель.

О, жизнь ничего не значит.
О, разум, как сердце, болит.
Вдали ребенок плачет
и мельница шумит.
То слуха власяница
и тонкий хлебный прах.
Зерно кричит, как птица,
в тяжелых жерновах.
И голос один, одинокий, простой,
беседует с Веспером, первой звездой.

– О Господи, мой Боже,
прости меня, прости.
И если можно, сердце
на волю отпусти –
забытым и никчемным,
не нужным никому,
по лестницам огромным
спускаться в широкую тьму

и бросить жизнь, как шар золотой,
невидимый уму.

Где можно исчезнуть, где светит досель
под дверью закрытой горящая щель.

Скажи, моя отрада,
зачем на свете жить?
услышать плач ребенка
и звездам послужить.
И звезды смотрят из своих
пещер или пучин:
должно быть, это царский сын,
он тоже ждет, и он один,
он, как они, один.

И некая странная сила,
как подо льдом вода,
глядела сквозь светила,
глядящие сюда.

И облик ее, одинокий, пустой,
окажется первой и лучшей звездой.

12. ОТШЕЛЬНИК ГОВОРИТ

— Да сохранит тебя Господь,
Который всех хранит.
В пустой и грубой жизни,
как в поле, клад зарыт.
И дерево над кладом
о счастье говорит.

И летающие птицы –
глубокого неба поклон –
умеют наполнить глазницы
чудесным молоком:
о, можно не думать ни о ком
и не забыть ни о ком.

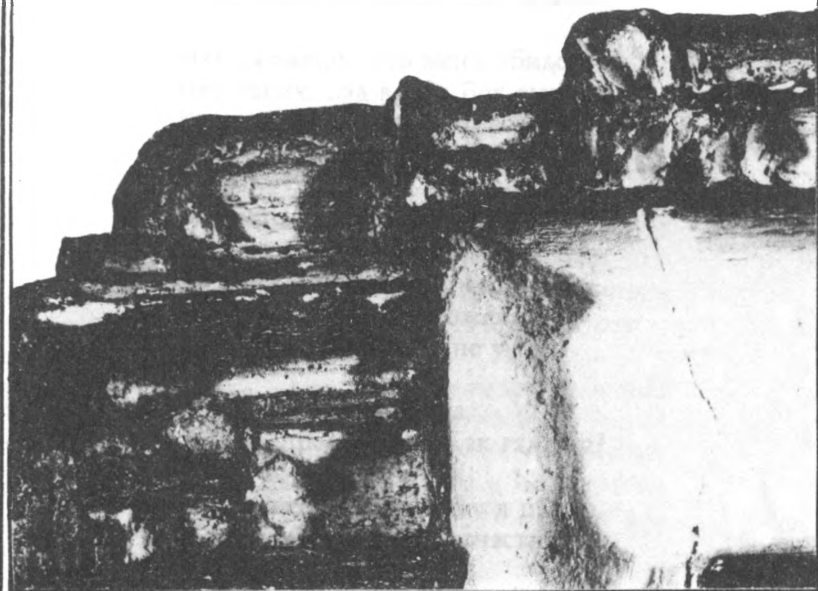
Я выбираю образ,
похожий на меня:
на скрип ночного леса,
на шум ненастного дня,
на путь, где кто-нибудь идет
и видит, как перед ним плывет
нечаянный и шаткий плот
последнего огня.

Да сохранит тебя Господь,
читающий сердца,
в унынье, в безобразье
и в пропасти конца –
в недостижимом стекле

закрытого ларца.
Где, как ребенок, плачет
простое бытие,
да сохранит тебя Господь
как золото Свое!

СТАРЫЕ ПЕСНИ

1980 – 1981



ПЕРВАЯ ТЕТРАДЬ

Что белеется на горе зеленой?

А. С. Пушкин

1. ОБИДА

Что же ты, злая обида, –
Я усну, а ты не засыпаешь.
Я проснусь, а ты давно проснулась
и смотришь на меня, как гадалка.

Или скажешь, кто меня обидел?
Нет таких, над всеми Бог единый.
Кому нужно – дает Он волю,
у кого не нужно – отбирает.

Или жизнь меня не полюбила?
Ах, неправда, любит и жалеет,
бережет в потаенном месте
и достанет, только пожелает,
поглядит, как никто не умеет.

Что же ты, злая обида,
сидишь предо мной, как гадалка?

Или скажешь, что живу я плохо,
обижаю больных и несчастных...

2. КОНЬ

Едет путник по темной дороге,
не торопится, едет и едет.

– Спрашивай, конь, меня что хочешь,
все спроси – я все тебе отвечу.
Люди меня слушать не будут,
Бог и без рассказов знает.

Странное, странное дело,
почему огонь горит на свете,
почему мы полночи боимся
и бывает ли кто счастливым?

Я скажу, а ты не поверишь,
как люблю я ночь и дорогу,
как люблю я, что меня прогнали,
и что завтра опять прогонят.

Подойди, милосердное время,
выпей моей юности похмелье,
вытяни молодости жало
из недавней горячей ранки –
и я буду умней, чем другие!

Конь не говорит, а отвечает,
тянется долгая дорога.
И никто не бывает счастливым.
Но несчастных тоже немного.

3. СУДЬБА

Кто же знает – что ему судили?
Кто и угадает – не заметит.

Может, и ты меня вспомнишь,
когда я про тебя забуду.

И тогда я войду неслышно,
как к живым приходят неживые,
и скажу, что кое-что знаю,
чего ты никогда не узнаешь.

А потом поцелую руку,
как холопы господам целуют.

4. ДЕТСТВО

Помню я раннее детство
и сон в золотой постели.

Кажется или правда? –
кто-то меня увидел,
быстро вошел из сада
и стоит улыбаясь.

– Мир – говорит, – пустыня.
Сердце человека – камень.
Любят люди чего не знают.

Ты не забудь меня, Ольга,
А я никого не забуду.

5. ГРЕХ

Можно обмануть высокое небо –
высокое небо всего не увидит.
Можно обмануть глубокую землю –
глубокая земля спит и не слышит.
Ясновидцев, гадалей и гадалок –
а себя самого не обманешь.

Ох, не любят грешного человека
зеркала и стекла и вода лесная:
там чужая кровь то бежит, как ветер,
то свернется, как змея больная:

– Завтра мы встанем пораньше
и пойдем к знаменитой гадалке,
дадим ей за работу денег,
чтобы она сказала,
что ничего не видит.

6.

Человек он злой и недобрый,
 Скверный человек и несчастный.
 И кажется, мне его жалко,
 а сама я еще недобрее.

И когда мы с ним говорили,
 давно и не помню сколько,
 ночь была и дождь не кончался,
 будто бы что задумал,
 будто кто-то спускался
 и шел в слезах и сам как слезы:

не о себе, не о небе,
 не о лестнице длинной,
 не о том, что было,
 не о том, что будет, —

ничего не будет.
 Ничего не бывает.

7. УТЕШЕНЬЕ

Не гадай о собственной смерти
и не радуйся, что все пропало,
не задумывай, как тебя оплачут,
как замучит их поздня жалость.

Это все плохое утешенье,
для земли обидная забава.

Лучше скажи и подумай:
что белеет на горе зеленой?

На горе зеленой сады играют
и до самой воды доходят,
как ягнята с золотыми бубенцами –
белые ягнята на горе зеленой.

А смерть придет, никого не спросит.

8. СПОР

Разве мало я живу на свете?
 Страшно и выговорить, сколько.
 А все себя сердце не любит.
 Ходит, как узник по темнице –
 а в окне чего только не видно!

Вот одна старуха говорила:
 – Хорошо, тепло в Божьем мире.
 Как горошины в гороховых лопатках,
 лежим мы в ладони Господней.
 И кого ты просишь – не вернется.
 И чего ни задумай – не исполнишь.
 А порадуется этому сердце,
 будто птице в узорную клетку
 бросили сладкие зерна –
 тоже ведь подарок не напрасный.

Я кивнула, а в уме сказала:
 Помолчи ты, глупая старуха.
 Все бывает, и больше бывает.

9. ПРОСЬБА

Бедные, бедные люди!
И не злы они, а торопливы:
хлеб едят – и больше голодают,
пьют – и от вина трезвеют.

Если бы меня спросили,
я бы сказала: Боже,
сделай меня чем-нибудь новым!

Я люблю великое чудо
и не люблю несчастья.
Сделай, как камень отграненный,
и потеряй из перстня
на песке пустыни.

Чтобы лежал он тихо,
не внутри, не снаружи,

а повсюду, как тайна.
И никто бы его не видел,
только свет внутри и свет снаружи.

А свет играет, как дети,
малые дети и ручные звери.

10. СЛОВО

И кто любит, того полюбят.
 Кто служит, тому послужат,
 не теперь, так когда-нибудь после.
 Но лучше тому, кто благодарен,
 кто пойдет, послужив, без Рахили
 веселый, по холмам зеленым.

Ты же, слово, царская одежда,
 долгого, короткого терпенья платье,
 выше неба, веселее солнца.

Наши глаза не увидят
 цвета твоего родного,
 шума складок твоих широких
 не услышат уши человека.

Только сердце само себе скажет:
 – Вы свободны, и будете свободны,
 и перед рабами не в ответе.



ВТОРАЯ ТЕТРАДЬ

Посвящается бабушке

1. СМЕЛОСТЬ И МИЛОСТЬ

Солнце светит на правых и неправых,
и земля нигде себя не хуже:
хочешь, иди на восток, на запад
или куда тебе скажут,
хочешь – дома оставайся.

Смелость правит кораблями
на океане великом.
Милость качает разум,
как глубокую дряхлую люльку.

Кто знает смелость, знает и милость,
потому что они – как сестры:
смелость легче всего на свете,
легче всех дел – милосердьё.

2. ПОХОДНАЯ ПЕСНЯ

Во Францию два гренадера из русского плена брели.
 В пыли их походное платье и Франция тоже в пыли.

Не правда ли, странное дело? Вдруг жизнь оседает, как
 прах,
 как снег на смоленских дорогах,
 как песок в аравийских степях.

И видно далеко, далеко, и небо виднее всего.
 – Чего же Ты, Господи, хочешь,
 чего ждешь от раба Твоего?

Над всем, чего мы захотели, гуляет какая-то плеть.
 Глаза бы мои не глядели. Да велено, видно, глядеть.

И ладно. Чего не бывает над смирной и грубой землей?
 В какой высоте не играет кометы огонь роковой?

Вставай же, товарищ убогий! солдатам валяться не след.
 Мы выпьем за верность до гроба:
 за гробом неверности нет.

3. НЕВЕРНАЯ ЖЕНА

— С того дня, как ты домой вернулся
и на меня не смотришь,
все во мне переменилось.

Как та вон больная собака
третий день лежит, издыхает,
так и душа моя ноет.

Грешному весь мир заступник,
а невинному – только чудо.
Пусть мне чудо и будет свидетель.

Покажи ему, Боже, правду,
покажи мое оправданье! –

тут собака, бедное создание,
быстро головой тряхнула,
весело к ней подбежала,
ласково лизнула руку –
и упала мертвая на землю.

Знает Бог о человеке
чего человек не знает.

4. УВЕРЕНИЕ

Хоть и все над тобой посмеются,
и будешь ты лежать, как Лазарь,
лежать и молчать перед небом –
и тогда ты Лазарем не будешь.

Ах, хорошо сравняться
с черной землей садовой,
с пестрой придорожной пылью,

с криком малого ребенка,
которого в поле забыли ...

а другого у тебя не просят.

.

5. КОЛЫБЕЛЬНАЯ

На горе, в урочище еловом,
на тонкой высокой макушке
подвязана колыбелка.

Ветер ее качает.

Вместе с колыбелкой – клетку,
с клеткой – дуплистую елку.

В клетке разумная птица
свистит и горит, как свечка.

– Спи, – говорит – голубчик,
Кем захочешь, тем и проснешься:
хочешь, бедным, хочешь, богатым,
хочешь – морской волной,
хочешь – ангелом Господним.

6. ВОЗВРАЩЕНИЕ

СТИХ ОБ АЛЕКСЕЕ

Хорошо куда-нибудь вернуться:
в город, где все по-другому;
в сад, где иные деревья
давно срубили, остальные
скрипят, а раньше не скрипели,
в дом, где по тебе горюют.

Вернуться и не назваться.
Так и молчать до смерти.
Пусть они себе гадают,
расспрашивают приезжих,
понимают – и не понимают.

А вещи кругом сияют,
как далекие мелкие звезды.

7. ЖЕЛАНИЕ

Мало ли что мне казалось:
Что если кого на свете хвалят,
то меня должны хвалить стократно,
а за что – пускай сами знают;

что нет такой злой минуты,
и такой забытой деревни,
и твари такой негодной,
что над нею дух не заиграет,
как чудесная дудка над кладом;

что нет среди смертей такой смерти,
чтобы силы у нее достало
против жизни моей терпеливой,
как полынь и сорные травы, –

мало ли что казалось
и что покажется дальше.

8. ЗЕРКАЛО

Милый мой, сама не знаю:
к чему такое бывает? –

зеркальце вьется рядом
величиной с чечевицу
или как зерно просяное.

А что в нем горит и мнится,
смотрит, видится, сгорает –
лучше совсем не видеть:

Жизнь ведь – небольшая вещица:
вся, бывает, соберется
на мизинце, на конце ресницы, –
а смерть кругом нее, как море.

9. ВИДЕНИЕ

На тебя гляжу – и не тебя я вижу:
Старого отца в чужой одежде.
Будто идти он не может,
а его все гонят и гонят...

Господи, думаю, Боже,
или умру я скоро? –
что это каждого жалко?

зверей – за то, что они звери,
и воду – за то, что льется,
и злого – за его несчастье,
и себя – за свое безумье.

10. ДОМ

Будем жить мы долго, так долго,
как живут у воды деревья,
как вода им корни умывает
и земля с ними к небу выходит,
Елизавета к Марии.

Будем жить мы долго, долго.
Выстроим два высоких дома:
тот из золота, этот из мрака,
и оба шумят, как море.

Будут думать, что нас уже нет...
Тут-то мы им и скажем:

– По воде невидимой и быстрой
уплывает сердце человека.
Там летает ветхое время,
как голубь из Ноева века.

11. СОН

Снится блудному сыну,
снится на смертном ложе,
как он уезжает из дома.

На нем веселое платье,
на руке прадедовский перстень.
Лошадь ему брат выводит.

Хорошо бывает рано утром:
за спиной гудят рожки и струны,
впереди еще лучше играют.

А собаки, слуги и служанки
у ворот собрались и смотрят,
желают счастливой дороги.

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В каждой печальной вещи
Есть перстень или записка,
как в условленных дуплах.

В каждом слове есть дорога,
путь унылый и страстный.

А тот, кто сказал, что может,
слезы его не об этом,
и надежда у него другая.

Кто не знал ее – не узнает.
Кто знает – снова удивится,
снова в уме улыбнется
и похвалит милосердного Бога.



СТИХИ ИЗ ВТОРОЙ ТЕТРАДИ,
не нашедшие в ней себе места

ПИР

Кто умеет читать по звездам
или раскладывать камни,
песок варить и иголки,
чтобы узнать, что будет
из того, что бывает, –
тот еще знает немного.

Жизнь – как вино молодое.
Сколько его не выпей,
ума оно не отнимет
и языка не развяжет.
Лучше не добивайся.

А как огни потушат
и все по домам разойдутся
или за столом задремлют –
то-то страшно будет подумать,
где ты был и по какому делу,
с кем и о чем совещался.

ДРУГАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спи, голубчик, не то тебя бросят,
бросят, и глядеть не будут,
как жница оставила сына,
на краю ячменного поля.
Сама жнет и слезы утирает.

– Мама, мама, кто ко мне подходит,
кто это встал надо мною?
То стоят три чудные старухи,
то три седые волчицы.
Качают они, утешают,
нажуют они мелкого маку.
Маку ребенок не хочет,
плачет, а никто не слышит.

СТАРУШКИ

Как старый терпеливый художник,
я люблю разглядывать лица
набожных и злых старушек:
смертные их губы
и бессмертную силу,
которая им губы сжала.

(будто сидит там ангел,
столбцами складывает деньги:
пятаки и легкие копейки...
Кыш! – говорит он детям,
птицам и попрошайкам –
кыш, говорит, отойдите:
не видите, что я занят?)

Гляжу – и в уме рисую:
как себя перед зеркалом темным.

БУСЫ

Лазурный бабушкин перстень,
прадедовы книги –
это я отдам, быть может.
А стеклянные бусы
что-то мне слишком жалко.

Пестрые они, простые,
как сад и в саду павлины,
а их сердце из звезд и чешуек.
Или озеро, а в озере рыбы:
то черный вынырнет, то алый,
то кроткий, кроткий зеленый –
никогда он уже не вернется,
и зачем ему возвращаться?

Не люблю я бедных и богатых,
ни эту страну, ни другие,
ни время дня, ни время года –
а люблю, что мнится и винится:
таинственное веселье.
Ни цены ему нет, ни смысла.

ПУТЕШЕСТВИЕ

Когда кончится это несчастье
или счастье это отвернется,
отойдет, как высокие волны,

я пойду по знакомой дороге
наконец-то, куда мне велели.

Буду тогда слушать, что услышу,
говорить, чтобы мне говорили:
– Вот, я ждал тебя – и дождался.
Знал всегда – и теперь узнаю.
Разве я что забуду? –

Каждый хочет, чтоб его узнали:
птицы бы к нему слетались,
умершие вставали живыми,
звери зверят приводили

и медленно катилось время,
как молния в раннем детстве.



ТРЕТЬЯ ТЕТРАДЬ

*Памяти бабушки
Дарьи Семеновны Седаковой*

1

— Пойдем, пойдем, моя радость,
пойдем с тобой по нашему саду,
поглядим, что сделалось на свете!

Подай ты мне, голубчик, руку,
принеси мою старую клюшку.
Пойдем, а то лето проходит.

Ничего, что я лежу в могиле –
чего человек не забудет!
Из сада видно мелкую реку,
в реке видно каждую рыбу.

2

Что же я такое сотворила,
что свеча моя горит не ясно,
мигает, как глаза больные,
бессонные тусклые очи? –

Вспомню – много; забуду – еще больше.
Не хочу ни забывать, ни помнить.
Ах, много я на людей смотрела
и знаю странные вещи:
знаю, что душа – младенец,
младенец до последнего часа.

всему, всему она верит
и спит в разбойничьем вертепе.

3

Женская доля – это прялка,
 как на старых надгробьях,
 и зимняя ночь без рассказов.
 Росла сиротой, старела вдовой,
 потом сама себе постыла.

Падала с неба золотая нитка,
 падала, земли не достала.
 Что же так сердце ноет?
 Из глубины океана
 выплывала чудесная рыба,
 несла она жемчужный перстень,
 до берега не доплыла.
 Что в груди как вьюга воет?

Крикнуть бы – нечем крикнуть,
 как жалко прекрасную землю!

4

Кто родится в черный понедельник,
тот уже о счастье не думай:
хорошо, если так обойдется
под твоей пропащей звездой.

Родилась я в черный понедельник
между Рождеством и Крещеньем,
когда ходит старая стужа,
как медведь на липовой ходуле:
– Кто там, дескать, варит мое мясо,
кто мою шерсть прядет-мотает? –
и мигали мелкие звезды,
одна другой неизвестней.

И мне снилось, как меня любили
и ни в чем мне не было отказа,
гребнем золотым чесали косы,
на серебряных санках возили
и читали из таинственной книги
слова, какие я забыла.

5

Как из глубокого колодца
или со звезды далекой
смотрит бабушка из каждой вещи:

– Ничего, ничего мы не знаем.
Что видели, сказать не можем.
Ходим, как две побирушки.
Не дадут – и на том спасибо.

Про других мы ничего не знаем.

6

Были бы мастера на свете,
выстроили бы часовню
над нашим целебным колодцем
вместо той, какую здесь взорвали ...

Было бы у меня усердьё,
шила бы я тебе покровы:
или Николая Чудотворца
или кого захочешь...

Подсказал бы мне ангел слово,
милое, как вечерние звезды,
дорогое для ума и слуха,
все бы его повторяли
и знали бы твою надежду... –

Ничего не надобно умершим,
ни дома, ни платья, ни слуха.
Ничего им от нас не надо.
Ничего, кроме всего на свете.

7

По дороге длинной, по дороге пыльной
 шла я и горевала –
 знаешь, как люди горюют?
 Когда камень поплывет, как рыба,
 тогда, говорю, и будет
 для души моей жизнь и прощенье.

Поплывет себе камень, как лодка,
 легкая при попутном ветре,
 расправляя золотые ветрильца,
 пестрые крапивницыны крылья,
 золотыми веслами мелькая
 по дальнему шумному морю.

И что было, того не будет.
 Будет то, чего лучше не бывает.

8

Ты гори, невидимое пламя,
ничего мне другого не нужно.
Все другое у меня отнимут.
Не отнимут, так добром попросят.
Не попросят, так сама я брошу,
потому что скучно и страшно.

Как звезда, глядящая на ясли,
или в чаще малая сторожка,
на цепях почерневших качаясь,
ты гори, невидимое пламя.

Ты лампада, слезы твое масло,
жестокое сердца сомненье,
улыбка того, кто уходит.

Ты гори, передавай известье
Спасителю, небесному Богу,
что Его на земле еще помнят,
не всё еще забыли.

9

(МОЛИТВА)

Обогрей, Господь, Твоих любимых –
сирот, больных, погорельцев.

Сделай за того, кто не может,
все, что ему велели.

И умершим, Господи, умершим –
пусть грехи их вспыхнут, как солома,
сгорят и следа не оставят
ни в могиле, ни в высоком небе.

Ты – Господь чудес и обещаний.
Пусть все, что не чудо, сгорает.



ПРИБАВЛЕНИЯ К «СТАРЫМ ПЕСНЯМ»

ПОСВЯЩЕНИЕ

— **П**омни, говорю я, помни,
помни, говорю и плачу:
все покинет, все переменится
и сама надежда убивает.

Океан не впадает в реку;
Река не возвращается к истокам;
Время никого не пощадило –

но я люблю тебя, как будто
все это было и бывает.

* * *

Плакал Адам, но его не простили.
И не позволили вернуться
туда, где мы только и живы:

– Хочешь своего, свое и получишь.
И что тебе делать такому
там, где сердце хочет, как Бог великий:
там, где сердце – сиянье и даренье.

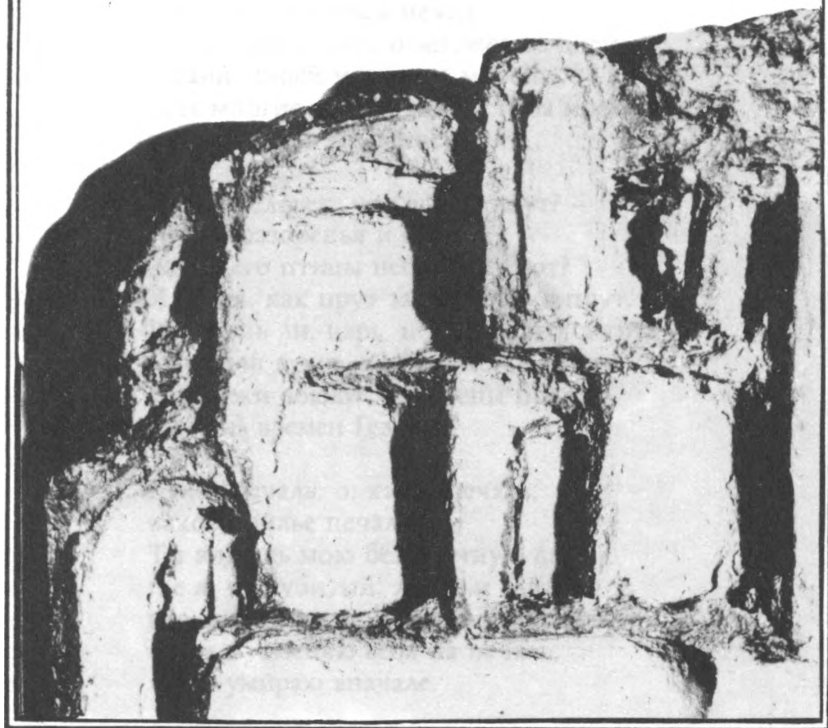
* * *

Холод мира
кто-нибудь согреет.
Мертвое сердце
кто-нибудь поднимет.
Этих чудищ
кто-нибудь возьмет за руку,
как ошалевшего ребенка:
– Пойдем, я покажу тебе такое,
чего ты никогда не видел!

1990–1992

ВОРОТА, ОКНА, АРКИ

1979 – 1983



ДАВИД ПОЕТ САУЛУ

— **Д** а, мой господин, и душа для души –
 не врач и не умная стража.
 (Ты слышишь, как струны мои хороши?)
 Не мать, не сестра, а селенье в глуши
 и долгая зимняя пряжа.

Холодное время, не видно огней,
 темно и утешиться нечем.
 Душа твоя плачет о множестве дней,
 о тайне своей и о шуме морей.
 Есть многие лучше, но пусть за моей
 она проведет этот вечер.

И что человек, что его берегут? –
 гнездо разоренья и стона.
 Зачем его птицы небесные вьют?
 Я видел, как прут заплетается в прут.
 И знаешь ли, царь, не лекарство, а труд –
 душа для души, и протянется тут,
 как мужи воюют, как жены прядут
 руно из времен Гедеона.

Какая печаль, о, какая печаль,
 какое обилье печали!
 Ты видишь мою безответную даль,
 где я, как убитый, лежу, и едва ль
 кто знает меня и кому-нибудь жаль,
 что я променяю себя на печаль,
 что я умираю вначале.

И как я люблю эту гибель мою,
болезнь моего песнопенья!
Как пленник, захваченный в быстром бою,
считает в ему неизвестном краю
знакомые звезды – так я узнаю
картину созвездия, гибель мою,
чье имя – как благословенье.

Ты знаешь, мы смерти хотим, господин,
мы все. И верней, чем другие,
я слышу: невидим и непобедим
сей внутренний ветер. Мы все отдадим
за эту равнину, куда ни один
еще не дошел – и, дожив до седин,
мы просим о ней, как грудные.

Ты видел, как это бывает, когда
ребенок, еще бессловесный,
поднимется ночью – и смотрит туда,
куда не глядят, не уйдя без следа,
шатаясь и плача. Какая звезда
его вызывает? какая дуда
каких заклинателей? –

Вечное *да*
такого пространства, что, царь мой, тогда
уже ничего – ни стыда, ни суда,
ни милости даже: оттуда сюда
мы вынесли все, и вошли. И вода
несет, и внушает, и знает, куда...
Ни тайны, ни птицы небесной.

СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

1

Печаль таинственна и сила глубока.
Семь тысяч лет в какой-нибудь долине
она лежала, и когтями ледника
ее меняли и ценили.

А то поднимется, как полный водоем, —
и листьям хочется сознания,
и хочется глядеть в неосвещенный дом,
где спит, как ливень, мирозданье.

2

Ни морем, ни дровом, ни крепкой звездой,
ни ночью глубокой, ни днем превеликим –
ничем не утешится разум земной,
но только любовью отца и владыки.

Ты, слово мое, как сады в глубине,
ты, слава моя, как сады и ограды,
как может больной поклониться земле –
тому, чего нет, чего больше не надо.

3

Блудный сын возвратится, Иосиф придет в Ханаан
молодым, как всегда, и прекрасным сновидцем.
И вода глубины, и огонь перевернутых стран
снова будущим будут и в будущем будут двоиться.

– Поднимись, блудный сын, ты забыл,
как живут на земле.

Погляди, как малейшее мир победит и пребудет.
И вода есть зола неизвестных огней, и в золе
держит наш Господин наше счастье и мертвого будит.

4

Я не могу подумать о тебе,
чтобы меня не поразило горе,
и странно это – почему?

Есть, говорят, сверхтяжелые звезды.
Кажется мне, что любовь тяжела,
как будто падает.
Она всегда
как будто падает –

и не как лист на воду
и не как камень с высоты –
нет, как разумнейшее существо,
лицом, ладонями, локтями
сползая по какой-то кладке ...

6

Когда настанет час,
и молот взмахнутый сойдется с наковальной,
и позовут людей от родины печальной,
какого от какой, какого от кого,
от сна, от палача, от сердца своего,
от всей немилости.
И мученики встанут
и скажут: – Не зачисли им за грех.
Мы точно знаем, что они не знают,
что делают.
Кто это знает?
кто знает то, что больше всех?
Как молнии мгновенные деревья
и разветвленные, как дуб,
зло падает, уничтожая ум.
Кто, кто поможет им не жечь, не мучить,
не убивать?

7

Я так люблю
эти дома, принадлежащие молитве,
эти огни, принадлежащие любви,
и в долгом плавании Часов или вечерни
голос, как голубь с известием земли:

– Ну поднимись, несчастное создание,
и поделись со мной, чем Бог тебе подаст;
мы вместе так и так,
и на руках страдания,
как дитя простое, укачают нас.



ГОРНАЯ ОДА

I

Где высота сама себя играет
на маленьком органе деревенском
и на глазах лазурь изображает,
но голосом не взрослым и не женским
а где-нибудь в долине удивленной
водой, перебегающей повсюду,
Моравии, Баварии зеленой
перемывая чистую посуду,
там в каменный кувшин с колоколами
упрятано готическое пламя.

II

Пусть готика, как это ей природно,
направит кверху вектор вертикали,
чтоб там она закончилась свободно,
как некогда преданье о Граале,
и копьеносцы и каменотесы
на острие иголки безвоздушной
вдруг задохнулись от надежды тесной
и не коснулись чаши невозможной –
а небо только падает глубоко,
как тот, кто спит на берегу потока.

III

Он спит и управляет сновиденьем,
 как плоскодонной лодкой на порогах,
 и звук, приподнимаясь над селеньем,
 кончается в таких же одиноких,
 и все они – его земля родная,
 и выбрать невозможно, и не нужно,
 переправляя их и пропадая
 в существовании, в воде воздушной,
 где, говорят, мы жили, как другие,
 как снег в горах, как реки в летаргии.

IV

Скажи, скажи на языке Кирилла
 или на том, какого не бывало,
 как снисхождение с нами говорило
 и небо прятало, как покрывало.
 Есть имена, похожие на чины.
 Они живут, как колокол в ущелье,
 как непонятной верности причины
 и как игра, не знающая цели,
 когда она летит одушевленно
 на свет сторожевого легиона.

V

Не родственный ни близости, ни дали,
 их колокол, раскачиваясь в нише,
 есть миг, когда они существовали, –

и в этот миг они спускались ниже.
То Руфью отзываясь, то Рахилью,
глядела жизнь, как рядом пировали,
не зная, для чего ее растили
и где конец ее чужой печали.
Другим хотелось много, ей – едва ли:
лечь и лежать, и чтоб ее назвали.

VI

Лежать, чтобы ее покоил голос,
который наклоняет котловины
и выдувает полости, и полость
в вино преобразует сердцевины.
Чтобы одно звучание носило,
как крепкое крыло возникновенья,
над пропастью без имени и силы,
но страшного, живого тяготенья,
и время шло, и время было слово,
не называя ничего другого.

VII

Чтоб горы – драгоценная равнина
увиденная оком недреманным
взволнованных озер, стоящих выну
над тем многоочитым океаном, –
глядели, как она была любима
и как она спускалась по ступеням,
по каменным порогам, по долинам
с тысячекратно узанным терпением.

И, наблюдая, как она терялась,
сама земля без меры повторялась.

VIII

И снился ей какой-то сон случайный,
почти печальный сон исчезновенья,
неведомо печальный. Но печали
он сразу же задумал удвоенье:
как будто дети, умершие рано,
как над ручьем, играющим в апреле,
стояли над своей могилой странной
и ни жалеть, ни плакать не умели.
И отраженных обликов мученье
им было неизвестно, как ученье.

IX

И так они стояли и молчали.
И только брали из случайной смерти
все то, что им напрасно обещали,
чего никто не пробовал на свете –
но каждый ждал. И вынырнул, как чадо,
и, плача, передал его загробью:
– Я только тень, но большего не надо.
Подобие, влюбленное в подобье.
И эту тень, как чашку с белым светом,
возьми себе, и позабудь об этом.

X

Не на такой ли круглой вертикали
мне дар передавали безвозмездный,
и золотом, как взглядом, отыскиали
и разрешили от надежды тесной?
Не тайны и не силы и не бездну,
мне показали дерево простое –
и странно было знать, что я исчезну,
когда листва заговорит с листвой,
и буду спать в корнях его глубоких,
как спят деревья при живых потоках.

XI

Все, что исчезнет, – будет как дорога.
И лежа мы уходим в путь невольный,
где круглая, как яблоко, тревога
катается в котомке колокольной:
скажи, скажи, на языке награды,
на языке, спускавшемся в загробье:
есть дудка, открывающая клады, –
звучащее подобие пощады –
и клад, и смысл, и образец подобья.



РАЗРОЗНЕННЫЕ И ПОСВЯЩЕННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

МАЛЕНЬКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ ВЛАДИМИРУ ИВАНОВИЧУ ХВОСТИНУ

Бесконечное скажут поэты.
Живописец напишет конец.
Но о том, что не то и не это,
из-за двери тяжелого света
наблюдают больной и певец.

И конечно, он легкого легче.
И конечно, он тоже болит –
нашей жизни и правды орешник:
düftig, düftig... du, Nächste... du, Licht... –

Будто вдруг непомерные двери
растворяя у всех на глазах –
и навстречу, как розы в партере, –
время, время в бессмертных слезах.

ПОСЛЕДНИЙ ЧИТАТЕЛЬ

Саше

... И в эту погоду, когда, как вино,
мы рады тому, что ни слуху, ни глазу
нельзя погрузиться в одну глубину,
коснуться ее – и опомниться сразу
(и что этот образ? не явь и не сон,
не заболеванье и не исцеленье,
а с криком летящая над колесом
мгновенная ласточка одушевленья)
тогда он и скажет себе: – Чудеса!
Не я ли раздвинул тяжелые вещи,
чтоб это дышало и было как сад,
как музыка около смысла и речи,
и было псалтырью, толкующей мне
о том, что никто, как она, не свободен, –
словами, которых не ищут в уме,
делами, которых нигде не находят.
Но, Господи, где же надежда Твоя?
Ты видишь – я вижу одними глазами.
И ветер вернется на круги своя.
Я знаю, я чудом задуман, и я,
как чудо, уже не вернусь с чудесами.
– Он встанет, и сядет, и встанет опять,
и в темные окна глядит, холодея.
А сад будет литься, скрипеть, лепетать
и жить как одно приключенье Психеи.

СТАТУЭТКА СЛОНА

3. Плавинской

На востоке души, где-то возле блаженных Аравий,
в турмалиновых гнездах, откуда птенцов воровали,

и летающих рыб, и драконов на заячьих лапах,
и больших изречений всегда наркотический запах,

мы, должно быть, бываем тем деревом прочным и чистым.
темной люлькой для образов, снящихся змеям пятнистым.

– О, ты будешь слонем! – говорит ему мастер голодный...
Ибо тяжесть земная выходит из клетки народной.

Золотые бока и надбровные царские шишки...
Ибо тяжесть земная с дозорной спускается вышки.

Каждый образ хорош. Только слон поправляет ограды...
Это тяжесть земная, вздыхая, уходит из сада...

Как же хочется быть драгоценным и тихим созданием,
чтоб его захватили, простясь со своим мирозданием!

Каждый образ хорош, каждый облик похож на ресницы,
увлажненные сном. Каждый знает, кому поклониться...

И не все ли равно – рассыпаться, как облако пыли,
или резать слонов и следить, чтоб они говорили.

НОЧНОЕ ШИТЬЕ

Тяге

Уж звездное небо уносит на запад
И Кассиопеи бледнеет орлица –
вот-вот пропадет. Но, как вышивки раппорт,
желает опять и опять повториться.
Ну что же, душа? что ты, спишь, как сурок?
Пора исполнять вдохновенья урок.

Бери свои иглы, бери свои рядна,
натягивай страсти на старые кросна –
гляди, как летает челнок Ариадны
в твоём лабиринте пред чудищем грозным.
Нам нужен, ты знаешь, рушник или холст –
скрипучий, прекрасный, сверкающий мост.

О, что бы там ни было, что ни случится,
я звездного неба люблю колесницы,
возниц и драконов, везущих по спице
все волосы света и ока зеницы,
блистание нитки, летящей в иглу,
и посвист мышинный в запечном углу.

Как древний герой, выполняя заданье,
из сада мы вынесем яблоки ночи
и вышьем, и выткем свое мирозданье –
чулан, лабиринт, мышеловку, короче –
и страшный, и душный его коридор,
колодезь, ведущий в сокровища гор.

Так что же я сделаю с перстью земною,
пока еще лучшее солнце не выйдет?
Мы выткем то небо, что ходит за мною,
откуда нас души любимые видят –
И сердце мое, как печные огни
своей кочергой разгребают они.

КУЗНЕЧИК И СВЕРЧОК

The poetry of Earth is never dead

John Keats

Поэзия земли не умирает.
И здесь, на Севере, когда повалит снег,
кузнечик замолчит. А вьюга заиграет
и забренчит сверчок, ослепший человек.
Но ум его проворен, как рапира.
Всегда настроена его сухая лира,
натянут влажный волосок.
Среди невидимого пира –
он тоже гость, он Демодок.
И словно целый луг забрался на шесток.

Поэзия земли не так богата:
ребенок малый да старик худой,
кузнечик и сверчок откуда-то куда-то
бредут по лестнице одной –
и путь огромен, как заплата
на всей прорехе слуховой.
Гремя сердечками пустыми,
там ножницами завитыми
все щелкают над гривами златыми
коней нездешних, молодых –
и в пустоту стучат сравненья их.

Но хватит и того, кто в трубах завывает,
кто бледные глаза из вьюги поднимает,
кто луг обходит на заре
и серебро свое теряет –
и все находит в их последнем серебре.

Поэзия земли не умирает,
но если знает, что умрет,
челнок надежный выбирает,
бросает весла и плывет –
и что бы дальше ни случилось,
надежда рухнула вполне
и потому не разучилась
летать по слуховой волне.

Скажи мне, что под небесами
любезнее любимым небесам,
чем плыть с открытыми глазами
на дне, как раненый Тристан?...

Поэзия земли – отважнейшая скука.
На наковаленках таинственного звука
кузнечик и сверчок сковали океан.

ОСЕНЬ, ОГОНЬ И ПУТНИК

В стеклянной храмине, потом в румяной туче
полупрозрачного плода
мгла осени, как зернышко, лежит.
Внутри нее огонь бежит
из ниоткуда в никуда.
Ведь Осень-Гестия очаг оберегает.
Там, в глубине его, поет
все то, что дождь-беспамятный смывает,
что снег ближайший заметет,
что в сердце тяжком обрывает
озябший путник у ворот. –
И вот его к огню сажают,
И ветер внутренний цевницу достает:

– Я вижу копи золотые
или ночные города:
померкшие пережитые
и будущие, как слюда.
Но более всего люблю я просто пламя.
Оно ныряет вензелями
в ту глубину, которую рокруг
никто за правду не считает,
откуда к нам кометы долетают,
где *все бывает*, милый друг, –
а пламя дальше выплывает.
Как золотой тритон, припаянный к трубе.
Он говорит: *я знаю о тебе,*
но ничему не доверяю.

И это правда.
Бедный узник
невидимых полупрозрачных век,
на что, на что походит человек,
а уж на жизнь свою большую
он не походит никогда;
ни в раннем детстве, ни тогда,
когда в лицо он старость видит
и ей неслышно говорит:

– Рисуи на мне начальные черты
твоих имен: таких как Твердь, Руда,
Мирская Мгла, Вечернее Прошенье.

Пиши на мне болезненное имя.

Я и в слезах его пойму
и передам; пересыпаясь,
как неприметное селенье,
как горсть огней –
из темноты во тьму.

ВЬЮГА

В. Латину

За Крестопоклонной, как дело пойдет
к тому, чтобы все повернуло обратно,
и желчь, начиная казаться как мед,
кончает. И горше стократно.

И пятна

темнеют у самых церковных ворот,
и дальше, и дальше... Уходит народ
от скорбной вечерни. Но так же невнятно
вся ночь захоластывая обратно бредет –
волною морскою всю ночь напролет.

И это недаром: как в теплой золе,
там, видно, тепло. Там, от вьюги неровный,
желтеет последний огонь на земле.
Там сторож сидит с побирушкой церковной –
как в теплой золе, как в утробе укромной.
А ветер, а ветки, а снег на стекле
и сами как будто не дома во мгле
и просят прохожих в тоске беспокровной
идти и идти, как в звезде баснословной
и словно к костру на холодной земле.

К полуночи сторож постель разберет,
и нищенка ляжет. При свете нерезком
появится что-то – и тут же пройдет.
Как будто по городу, полному блеском,
какая-то тень. Опечаленным треском
откликнется печь. Но и это пройдет.

И это пройдет, и веками идет,
и плачет, и плачет в отчаянье детском,
как будто на озере Геннисаретском –
волною морскою всю ночь напролет.

НИ ТЕМНОЙ СТАРИНЫ ЗАВЕТНЫЕ ПРЕДАНИЯ

В. Ахсюциу

Есть странная привязанность к земле,
нелюбящей; быть может, обреченной.
И ни родной язык, в его молочной мгле
играющий купелью возмущенной,
не столько дорог мне. Ни ветхие черты
давнопрошедшей нищеты,
премудрости неразличенной.

И ни поля, где сеялась тоска
и где шумит несжатым хлебом
свои сказания бесчисленной песка
вина перед землей и небом:

– О, не надейся, что тебя спасут:
мы малодушны и убоги.
Один святой полюбит Божий суд
и хвалит казнь, к какой его везут,
и ветер на пустой дороге.

СЕЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Мы приезжали на велосипедах к погосту
 восемнадцатого века,
 мы не клялись, но взрослые не знали, и это
 было лучше каждый раз,
 где двигались церковные деревья вдоль неба,
 как нынешние реки,
 их тени расходились и сходились и обрывали
 разговор при нас.
 Чугунный ангел свиток или факел придерживал:
 трех девочек старинных
 он сон оберегал и нам велел
 не забывать, что времени немного и что при
 дифтеритах и ангилах
 шаг слишком явен, голос слишком смел.
 Как сердце любит странную надежду. Как ветер
 жизни, страшный для героя,
 качает в колыбельной колыбели. Как сердце
 любит память ни о чем.
 Нигде, никак... Неуловимым взглядом
 обмениваешься себе с сестрою,
 как этот ствол, едва мы отвернемся,
 как белый луч с беленым кирпичом.
 Ты, связь времен, и если ты бываешь
 (а разве нет?), ты сон выздоравлиешь,
 и медленно течешь, и долго видишь детей
 перед могилами детей.
 – Пойдем, пора. – Постой, еще немного.
 Я встану, если нужно, на колени,
 я не боюсь, когда ты разгибаешь свисток
 свой круглый до скончанья дней.

В ПСИХБОЛЬНИЦЕ

Идет, идет и думает: куда.
конечно, если так, но у кого.
а ничего, увидим.

Я тебе!

– Ой, мамочка, не бей меня, не бей,
я не нарочно! –

и давай подол

ловить, а поздно:

мать ушла,

сидит в углу, качает младшую,

а рядом котик небольшой.

хороший котик, забери-ка деток.

Ты покачаешь, люди отдохнут...

Вот я тебе!

Усни, мой ангелок... –

Но глубина ее ужасной жизни

не засыпала на руках.

Она подумала – и встала –

разжала руки

и пошла.

И как земля, в земле лежала.

В ВИННОМ ОТДЕЛЕ

В. Котову

Отец, изъеденный похмельем,
стучал стеклом и серебром.
Другие пьяницы шумели
и пахли мертвым табаком.
Подвал напоминал ущелье,
откуда небо кажется стеклом.

Ребенок в пурпурной каталке,
в багряных язвах аллергии
сидел, как чучело страданья,
текущего через другие
бессмысленные воды...

Предметы плавали, не достигая дна
расплавленных и слабых глаз.
А там, на дне, труба гудела
и ветер выл. Он был
Больной Король,
хозяин зданья,
где раз в тысячелетие и реже
под музыки нездешнее бряцанье
за святотатственным Копьем
несут болезненную Чашу.
Где плоть, как разум, изнаывает.

Зачем, зачем? – труба вызывает
из глаз его полузакрытых –
зачем, доколе будет смерть лакать
живую кровь? зачем несправедливость

мне сердце обвивает, как питон?
Я не Геракл, я сам, как сон.
И сам из-под пяты взвиваюсь,
над язвами Земли Святой
безумным терном обвиваюсь,

когда неслышными шагами
под музыку, идущую кругами,
за святотатственным Копьем
несут болезненную Чашу –

и, погибая, сердце наше
мы сами, словно оцет, пьем!

Зачем, зачем! – труба взывает –
мне жизнь, как печень, разрывают?
доколе мне в скале гореть?
доколе будет смерть гудеть
и с искрами свистеть, взлетая,
земля от крови золотая?
и все, что было, будет впредь...

ЛИЦИНИЮ

Л. Евдокимовой

Помнишь, апрель наступал? а вот уж в его середине,
как в морском путешествии – ветра свист и вещие рощи.
Но как мне хочется жить! Это просто нелепо, Лициний,
словно пробку топить в океане погигбели общей.

На корабле государства мы едем сдыхать от позора.
Ибо кому же охота железо лизать на морозе?
Ибо не небо – земля, ибо и завтра – не скоро,
а сегодня шумит. А сегодня – как старец Тиресий.

Старый образ бабочки и свечи принесу я из трюма:
нужно мне поглядеть сильной смерти крылья и корни.
Там и пойдет океан причитать, как слепец, сочиняющий
думу
перед жадным народом, который его не накормит.

О океан-мотылек! кто сложил, кто раскрыл твои
крылья? кто ложками линий
вычерпал сердце мое так, что там ничего не осталось?
Вот как живет океан. Кто живет, расскажи мне, Лициний,
в золотой середине свечи, чтоб она и в конце улыбалась?

ЕЛЕНЕ ШВАРЦ

1

Есть нечто внутри, как летающий прах,
как дух, переживший заклятье.
Ваш голос – идущий, он дальше, в горах,
он, видно, ягненка несет на руках
и хмурится светлое платье.

Как будто сказали мне: – Стой и смотри,
не часто такое встречали:
Ваш образ – как уголь горящий внутри,
где все сожжено, как в начале.

Кинфия

Нет, не забудут тебя, если будут кого-нибудь помнить.
Тихого мальчика в сад тихий садовник ведет:
– Видишь розы мои? это Гораций. А это,
возле фиалок Сафо – Кинфия, тайна и мак.

НА СМЕРТЬ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ХВОСТИНА

Кончен труд, мой бедный, кончен труд
счастья и надежды: безупречный
труд любви. И что же, нас сотрут,
как рисунок мелом? Дар сердечный,
обаянье будущего, Млечный
точный путь, которым нас ведут...
Или не доведут? Друг мой *вечный*,
или вечность – только тут?

Мужество есть лучшее, чем жизнь.
Есть такое удивленье,
для которого мы родились.
Как в порыве первого движенья,
он лежит – и переносит жизнь
на руках благословенья.

Как ребенка на руках,
вынесет через горящий прах
исцеление и пенье,
жизнь, укорененную в веках.
Спит, как будто рад, что в этих снах –
окончательное подтвержденье.

* * *

В пустыне жизни... Что я говорю,
в какой пустыне? В освещенном доме,
где сходятся друзья и говорят
о том, что следует сказать. Другое
и так звучит, и так само себе,
как дерево из-за стекла, кивает.
В саду у дружелюбных, благотворных,
печальных роз: их легкая душа
цветет в Элизии, а здесь не знает,
как выглянуть из тесных лепестков,
как показать цветенье без причины
и музыку, разредившую звук,
как рассказать о том, что будет дальше,
что лучшее всего... В саду у роз,
в гостях у всех – и все-таки в пустыне,
в пустыне нашей жизни, в худобе
ее несчастной, никому не видной, -
Вы были больше, чем я расскажу.

Ни разум мой и ни глухой язык,
я знаю, никогда не прикоснутся
к тому, чего хотят. Не в этом дело.
Мы все, мой друг, достойны сострадания
хотя бы за попытку. Кто нас создал,
тот скажет, почему мы таковы,

и сделает, какими пожелает.
 А если бы не так... Найти места
 неслышной музыки: ее созвездья, цепи,
 горящие переплетенья счастья,
 в которой эта музыка сошлась,
 как в разрешенье – вся большая пьеса,
 доигранная. Долгая педаль.

Глубокая, покойная рука
 лежала б сильно, впитывая все
 из клавишей... Да, это было б лучше,
 чем жестяные жалобы разлуки
 и совести больной... Я так боюсь.
 Но правда ведь, какая-то неправда
 в таких стенаньях? Следует конец
 нести на свет руками утешенья
 и, как в меха, в бесценное создание
 раскаянье закутать, чтоб оно
 не коченело – бедное, чужое...
 А шло себе и шло, как красота,
 мелодия из милости и силы.
 Вы видите, я повторяю Вас...

НА СМЕРТЬ ЛЕОНИДА ГУБАНОВА

До свиданья, друг мой, до свиданья.

С. Есенин

Или новость – смерть, и мы не скажем сами:
все другое *больше* не с руки ?
Разве не конец, летящий с бубенцами,
составляет звук строки?

Самый неразумный вслушивался в это -
с колокольчиком вдали.
Потому что, Леня, дар поэта
так отраден для земли.

Кто среди сокровищ тяжких, страстных
ларчик восхищенья выбрал наугад?
Кто еще похвалит мир прекрасный,
где нас топят, как котят?

Как эквилибрист-лунатик, засыпая,
преступает через естество,
знаешь, через что я преступаю?
Через *ненужность ничего*.

До свиданья, Леня. Тройкой из романа
пусть-хоть целый мир летит в распыл,
ничего не страшно. Нужно постараться.
Быть не может, чтобы Бог забыл.

ВСТРЕЧА

Дом в метели
или огонь в степи
или село на груди у косматой горы
или хибара
на краю океана,
который вечно встает,
как из-под ложечки,
из места, где все безымянное ноет, –

вот где следует жить,
вот где мы, наконец, оживем.
Соберем нашу чашку, разбитую вдребезги с горя,
и в вине ее все отразимся –
все, как войдем:

с веселым и любопытным взглядом,
со снегом, с огнем,
с удовольствием видеть друг друга,
с океаном в окне.

А хозяином будет Гиви,
ведь добрей человека
земля не видала.

ВЕЧНА

Ивану Жданову

Только я сказать хотела:
– Приезжай, навести меня! –
а зима кончается.

Иероглифами кустов и деревьев
с нажимом и без нажима
пишут и пишут.
Ах, по влажной бумаге
невидимой кистью,
по воздуху мягкому, рисовому
писать одно удовольствие –
руку не остановишь.

Воздушная книга, как Хлебников, пишет:
какие-то корнесловия,
колодцы происшествий,
золотые мониста наставшего.
Впрочем, приедешь, увидишь.

Из чулана зимы,
из каморки ночи
солнце выходит -
странно, как оно там умещалось?
Делать нечего, вот теперь и греет.
Нужно ему осветить
что-нибудь важное,
что-нибудь милое...
Приезжай, не откладывай.

Сколько бы человеку
не светили, не писали, не летали,
сколько бы ручьи не рисовали
горы и впадины
нашей равнины,
сколько бы птицы не говорили,
как небо окружает землю
тысячерукой лазурью,
лазурью, нежной попрошайкой –
а грустно думать, что никто не придет.

Разве ты знаешь, когда будет поздно?
Как снег сойдет, так и нас
хватиться –
а нигде не видно.

ЗОЛОТАЯ ТРУБА

РИТМ ЗАБОЛОЦКОГО

Над просохшими крышами
и среди луговой худобы
в ожиданье неслышимой
объявляющей счастье трубы

все колеблется, маятся
и готово на юг, на восток,
очумев от невнятицы -
то хлопок, то свисток, то щелчок.

Но уж – древняя ящерка
с золотым светоглазом во лбу –
выползает мать-мачеха,
освещая судьбу:

погляди, поле глыбами, скрепами
смотрит вверх, словно вниз
и крестьянскими требами
вдруг себя узнает. Объявись!

Объявись, ибо сладко, я думаю,
разнестись, как сверкающий дым,
за ослепшей фортуною,
за ее колесом золотым –

что ослепнет, то, друг мой, и светится,
то и мчит, как ковчег

над ковшами Медведицы -
и скорей, чем поймет человек.

Там-то силой сверхопытной –
соловей, филомела, судьба –
вся из жизни растоптанной,
объявись, золотая труба!



СКАЗКА,

В КОТОРОЙ ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ

1

Для кого приходит радость,
для кого приходит горе –
ни тому и ни другому
мы не будем удивляться
и завидовать не будем.

Многошумною волною,
многоцветным океаном,
покрывалом долготканным
всех когда-нибудь покروют.

Засыпающему снится
жаркий полдень, плоский камень
и заваленный колодец.
Камень нужно отложить.

– Что-то я такое помню,
говорит он, улыбаясь,
овцы, солнце и девица,
угоняющая стадо...
То ли это жизнь такая,
то ли в книге Бытия.

2

Плакать я хочу и плакать
не могу. Как бесноватый
некий царь, больной рассудок
говорит служебным духам:
– Принесите, что ли, арфы,
приведите музыкантов.
Многоокиими руками
пусть они меня умоют,
как бывало умывали:
на тимпанах и на струнах,
как на тайных родниках,
есть заброшенные чаши,
есть ковши из серебра,
прорицательные звуки.

3

Пусть вперед выходит мальчик,
младший сын и самый слабый.
Кроме странного избранья
ничего не знает он.
Кто не жил – тот лучше живших
нашу жизнь для нас расскажет.
Кто не плакал – тот опишет
нечто горшее, чем плач.

4

Милый друг мой, друг бесценный,
будешь ли ты дальше слушать,
как доселе слушал? Вижу:
бродит нежное вниманье,
собирает глубину –
и высокими цветами
смотрит в низкое окно.
Нет стекла, в каком ушедший
не увидит нас, живущих,
нет небес, в каких отныне
не увижу я тебя.

5

Страшно дело песнопенья
для того, чей разум зорок,
зренье трезво, слово твердо
и над сердцем страх Господень.
Нужно петь, как слабоумный,
быстро, пестро, бесприютно,
нужно бить, как погремушка,
отгоняющая змей:

6

Что ты вьешься, что ты смотришь,
что ты клянчишь, побирушка,
и смиренно причитаешь:
все мое, мое, мое...

7

С фонарями сновидений
мы бредем по тьме кромешной,
шатким светом задевая
ближний куст и дальний дом –
не Лаванов ли? Но что же:
все исчезло, превратилось,
овцы, солнце и девица,
и шумит снотворный мак,
перетряхивая зерна,
рассыпая чудный сон.

8

В бедной хижине альпийской
жил да был один знакомый
мне пастух. Пройдя тернистый
узкий склон, перебредя
ключ студёный – я у двери
постучала и вошла.

9

Он сидел и золотистый
прут строгал: он плел загон
для прекрасных рыжеватых
золотых ягнят – их было
столько, что не перечесть.
Свет двойной над ними вился,
расплетался, заплетался:

свет заката золотого
и золотого очага –
вился, сыпался, как стружки,
на руно, на хлеб, на воду.
на овец и пастуха...
И сказал он: /подожди,

10

если кто-нибудь поверит,
я клянусь, что много счастья
я видала – но такого
невозможно увидеть:
ходит золото в рубашке,
на полу лежит соломой,
испаряется из чаши
и встречается с собой
в золотых глазах ягненка,
наблюдающего пламя,
и в глазах других ягнят,
на закат в окно глядящих.../

11

И сказал он: – Ты подумай.
Смерти больше не бывает.
Видишь, мы живем, как пламя
в застекленном фонаре.
Кто, скажи, по тьме крошечной
пробирается, качая
наш фонарь? И кто в закрытый

дом заходит, рыбу ест?
Знаешь – кто? Тогда иди.

·12

Он открыл мне дверь и вышел.
Вьюга выла, пыль носилась,
гнулись ели – и ручей
пробежал под самой дверью
и ломался хрупкий лед.
– Не забудь, – сказал он важно –
«горя много, счастья мало».
Дал мне валенки и скрылся.
– До свиданья! – снег метет –

13

до свиданья! в сновиденье,
на огнях Кассиопеи,
на огне воспоминанья
ни о чем и обо всем,
до свиданья, моя радость!
Дальше снег и лед колючий,
мелкий, пестрый, хрупкий лед.

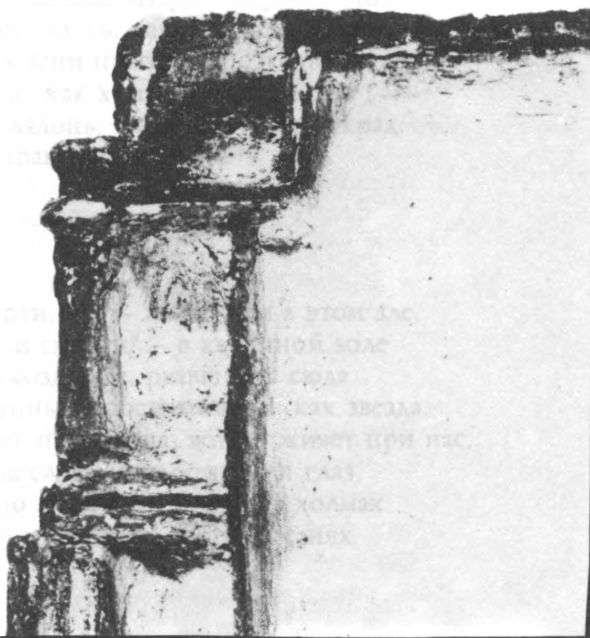
14

Страшно дело песнопенья,
но оно мне тихо служит
или я ему служу:
чудной мельнички верчу

золотую рукоятку –
вылетает снег и ветер,
вылетает океан.
Но оно, подобно шляпке,
настигает, исчезая,
карим золотом сверкая
над безглазой глубиной.
Что не нами начиналось,
что закончится не нами,
перемелют в чистой ступке
золотые небеса.

СТАНСЫ
В МАНЕРЕ АЛЕКСАНДРА ПОПА

1979 – 1980



СТАНСЫ ПЕРВЫЕ

Елене Шварц

For ever separate, and for ever near.

A. Pope

1

Поэт есть тот, кто хочет то, что все
хотят хотеть: допустим, на шоссе
винтообразный вихрь и черный щит –
и все распалось, как метеорит.
Есть времени цветок, он так цветет,
что мозг, как хризопраз, передает
в одну ладонь, в один глубокий крах.
И это правда. Остальное – прах.

2

Не смерти, нет – и что нам в этом зле,
в грехе и смерти? – в каменной золе
других созданий, рвавшихся сюда
и съеденных пространством, как звезда.
А жизнь просторна, жизнь живет при нас,
любезна слуху, сладостна для глаз,
и славно жить, как будто на холмах
с любимым другом ехать на санях.

3

Какой же друг? Я говорю: мой друг –
и вижу: звук описывает круг,
потом другой, и крутит эту нить,
отвыкнув плакать, перестав просить.
Мой друг! я не поверю никому.
что жизнь есть сон и снится одному –
и я свободно размыкаю круг:
благослови тебя Господь, мой друг.

4

И ты, надежда. Ты равняешь всех:
все водят, *это* прячется: в орех,
в ближайший миг, где шумно и темно,
в сушеный мак, в горчишное зерно –
ох, знаю я: в мельчайшую из стран
ты катишь свой мгновенный балаган,
тройные радуги, злаченный мрак.
А безнадежность светит нам, и как!

5

Кто день за днем, как нищий в поездах
с притворными слезами на глазах
в ворованную шапку собирал –
тот, безнадежность, знает твой хорал.
Он знает это зданье голосов,
идущее в черновике лесов

все выше, выше – и всегда назад.
И сам поправит, если исказят.

6

Так пусть же нам покажут ночь в горах,
огонь в астрономических садах
и яблоню в одежде без конца
как бы внутри несчастного лица.
Ее одежда не начнется там,
где лепестки начнутся: по пятам
за ней пойдут соцветья и цветы
в арктическую рощу высоты.

7

Там страшно, друг мой. Там горит Арктур
и крутятся шары. Там тьма фигур
с пристрастьем наблюдает мир иной
и видит нас сверкающей спиной –
как будто мы за ней идти должны
из тьмы глубоководной глубины.
И мы идем, глотая пыль и соль,
как шествие, когда вошел король

8

и движется по улицам своим
к собору кафедральному. Пред ним
опустошенье. Позади него –
миллионом спичек чиркнув, вещество
расходится на лица и дома,

столбы, как их расставила чума,
простые арки, плавание и звон....
Но *что* он видит – знает только он.

9

Ни смерть, ни жизнь, ни зверь, ни человек
и ни надежды безнадежный бег,
ни то, что мы оправданы давно,
ни то, что в глубине моей темно,
не есть желанье, ни желанья часть.
Желанье – тайна. О, желанье – пасть
и не поднять несчастного лица.
Не так, как сын перед лицом отца:

10

как пред болящим – внутренняя боль.
И это соль, и осолится соль.



СТАНСЫ ВТОРЫЕ

НА СМЕРТЬ КОТЕНКА

Ach, wie nichtig, ach wie flüchtig...

Хорал И.С. Баха

1

Что делает он там, где нет его?
где вечным ливнем льется существо,
как бедный плащик, обмывая прах
в случайных складках на моих руках
не менее случайных. Разве сон
переживает душу, как озон
свою грозу – и говорит о ней
умней и тише, тише и умней.

2

Тогда крути, Фортуна, колесо,
тень мнимости, Сатурново кольцо,
тарелку у жонглера на шесте
в обворожившей сердце пустоте.
Но даже на тарелке пылевой,
где каждый обратится в призрак свой,
мы будем ждать в земле из ничего,
прижав к груди больное существо.

3

Больное, ибо смерть – болезнь ума,
не более. Болезнь и эта тьма,
в которую он смотрит, прям и нем,
Бог знает где, Бог знает перед кем.
На твой точильный круг, на быстрый шум,
исчезновенье! пусть наложит ум
свой нож тупой – и искры засвистят,
и образы бессмертные взлетят.

4

Вращаясь, как Сатурново кольцо, –
о горе. Кто кому глядел в лицо?
кто знал кого? к тому, что за спиной,
оглянется – и образ соляной
останется. Мужайся, жизнь моя:
мы убегаем из небытия
огромной лентой, вьющимся шнуром,
гуськом предвечным над защитным рвом.

5

Но если бы с обидой или злом
они являлись! колотым стеклом
кидая нам в глаза – и в тот же миг
живые слезы вымывали их!
Ну, поднимись! лежать в уме ничком
немыслимо; держаться ни на чем,

не быть ничем, крошиться, как слюда,
катиться, как шеольская вода!

6

галактика? воронка? водопад?
рассыпанный и распыленный клад?
но что-то там болеет: бедный путь,
как ящерка, мелькнувший где-нибудь,
среди камней, быть может, мировых,
бесценных, славных. Только что нам в них.
И нужен облик, видимый, как снег:
он колыбель, качающая всех.

7

Живое живо в глубочайшем сне,
в забвении, в рассеянье, на дне
какого-то челна: не дух, не плоть,
но вся кудель чудес Твоих, Господь.
Оно признание – собеседник Твой.
Оно сознания ливень проливной.
Под шум воды на крышах шумовых
оно заснуло на руках Твоих.

8

Грядущее - как степь, как решето.
Не бойся и не жалуйся: ничто
здесь все равно не будет *больше* слез.

Все остальное пусто, как мороз
арктический.
А он себя сомкнул
и холмик смерти быстро обогнул
и побежал, словно увидел цель.
И в эту шерсть уходит взгляд, как в щель.

9

И все пройдет, и все летит, как снег:
изнанка зренья, оболочка век,
пустого сновиденья вещество
или измученное существо –
неважно. Все уйдет из глаз моих
по образам и по ступеням их,
все катится, как некий темный шар,
разматывая *имени* пожар.



СТАНСЫ ТРЕТЬИ

ВИНО И ПЛАВАНИЕ

Non vogliate negar l'esperienza
di retro al sol, del mondo senza gente?

Dante Inf. 26,17-18

1

Существованье – смутное стекло.
Военный марш или роман Лакло,
или трактат о фауне озер –
мне все равно. Гадательный прибор
повсюду крылья пробует, горит
и в зрении, как бабочка, сорит
другими временами, и другой
моток пространства катит перед собой.

2

Я не люблю старинных небылиц
о призраках убитых и убийц,
и если их нацедит ночь сама –
тяжелый хмель трусливого ума
я выплесну: судьбой теней своих
пусть бесы потешают псов цепных
и, чью-то совесть подцепив крючком,
показывают в облике ручном. –

3

чур, чур, меня! сам воздух, самый ход
его: подобье капилляров, сот,
безвидных гротов, кованных оград –
не пустится на этот маскарад.
Но полночь – кубок; я возьму его,
и смертных чувств простое вещество,
бесстрашное – да будет вживлено
в поминовенье, сладкое вино.

4

Оно одно – обширная, ничья,
единственная родина, края,
в которых кроме края, ничего.
Когда-нибудь другое существо
возьмет его и вспомнит обо мне,
как будто я давно уже вонне
или не то, что здесь передо мной
стоит, пренасыщаясь глубиной...

5

Ну, колеса тяжелый поворот:
ход краткостей, верхов, низов, долгот,
машина звука, плаванье в уме,
движенье по неведомой кайме.

Не правда ли? нам жить не надоест,
пока мы не увидим Южный Крест –
и ради сострадания звезд чужих
употребим остаток чувств земных!

6

Бездейственное плавание влечет
особенно: как будто дальше ход,
похожий на мышинный. Вот туда
с тяжелым стоном тянется вода.
О, говорят, что есть еще места,
где здешнего пространства теснота
пульсирует, и кажется другой –
проколотой таинственной иголкой.

7

Внутри? о да. Но лучше не внутри.
а где-нибудь. Скорее оботри
от *внутреннего* драгоценный жар.
кристальный куб, пересеченный шар:
оно мелькает, как летучий прах,
все счастья ждет, все топчется в дверях,
все ноет, будто ты чего жалел
или свой хлеб перед голодным ел –

8

и ну его. Уж если быть, то быть
несчастливыми без оговорок: плыть

прямо в прозор двух щелкающих скал
и, как ребенок, знать, что ты пропал:
– Глядите же вы все, как я хочу,
чтоб вы меня не знали! как взлечу
куда-нибудь из ваших черных дыр –
вы, чудища, и ты, проклятый мир!

9

как сироты, привыкнущие красть,
врать, сквернословить, прятаться – и всласть
все думать, думать, думать что есть сил,
что лучше бы их этот Бог забыл,
что Он как боль в кишках, как соль в глазах... –
вдруг видят сон: неразличимый прах
расходится, спокойно отстоя.
И кто-то молвит: – Умница моя.

10

Я знаю кое-что о чудесах:
они, как часовые на часах.



СТАНСЫ ЧЕТВЕРТЫЕ

ПАМЯТИ НАБОКОВА

And then the gradual and
dual blue,
As night unites the
viewer and the view.

Pale Fire

1

Есть некий дар, не большой из даров;
как бы расположение шаров,
почти бильярд – но если сразу сто,
задетые одним, летят в ничто.
Мой бедный друг, воображаешь ты
корзину беспримерной темноты?
ничуть не так. Вот замысел игры:
его объём есть острие иглы.

2

Дремучая зима, солнцеворот,
когда мороз свою лучину жжет.
Суровое созвездье-полуконь,
стоит, нацелясь в низовой огонь
огнем другим – и чу, свистит стрела.
И чучело альпийского орла
за перевалом брэнности земной,
словно рожок, беседует со мной.

3

Как странно: быть, не быть, потом начать
немного быть; сличать и различать,
как бабочка, летающий шатер
с углом и лампой, с линиями штор,
кончать одно и думать о другом,
как облако, наполнить целый дом,
сгуститься в ларчик, кинуться в иглу
и вместе с ней скатиться в щель в углу.

4

И триста лет лежать себе в пыли –
и вдруг звучать, как бой часов вдали.

5

Неслышимая музыка звучней.
Собрав миряд рассеянных лучей,
она для нас играет за углом
огромным зажигательным стеклом.
И нравится ее простая весть
о том, что все не здесь – и снова здесь,
что искрится хрусталик слуховой,
как снежный порошок в бездне меховой...

6

Что это, арфа, клавиши? мой друг,
ничто нам не напомнит этот звук.

То в Альпах непроглядная пурга,
то легкий дух трубит в свои рога.
То дух созвучий, двух и снова двух,
и тот далекий отлетевший дух,
который наполняет этот стих,
как фульский кубок в глубинах морских.

7

Среди старинных стесанных монет
и денег государств, которых нет,
дукатов и цехинов и гиней –
среди всего, что умный казначей
собрал по свету и послал назад,
где все сочтет подводный нумизмат, –
дух говорит, как клады из волны,
изъеденные солью глубины.

8

Клянусь: и дар, и несравненный труд,
и этот всевмещающий сосуд,
который сохраняют времена
для некоего нового вина,
мы берегли ревнивей, чем король
из неизвестной Фулы: только соль
возьмет его, когда я предпочту
как пустота, увидеть пустоту.

9

Затем, что замирая перед ней,
живая плоть исполнена теней
или видений: дуга на ожог,
бессмертие играет, как рожок.
И сладостно меж образов своих,
шаров, шатров и коридоров их
существовать. Но сладостней всего
уйти из них, не помня ничего.

10

А эти все, кто мучает других,
кто скверными губами скверный стих
разжевывает, кто сует в гробы
учебники рабов: «мы не рабы», –
кто хочет зла, как будто зло – еда,
и сам себе отвратен навсегда
и выветрится, как кухонный чад, –
мне жалко их. Но пусть они молчат.

11

Никто не знает, где он будет жив
и где живет, разлуку разложив
на колебанья зрительной волны
фосфоресцирующей глубины,
как дух и тень. И все соединит,

и все рассыплет. Царственный магнит,
дар привлекает множество даров
и катится, как ливень из шаров.

12

Так выпьем кубок, сложенный, как соль,
за эту жизнь, похожую на боль, –
и все же на пастушеский рожок.
За дальний звук, который ум зажег
и сердце отогрел – и не могло
перемениться смутное стекло.
Еще за то, что мы прискорбно злы.

За милосердые – острие иглы.



КОДА

Поэт есть тот, кто хочет то, что все
хотят хотеть. Как белка в колесе,
он крутит свой воображимый рок.
Но слог его, высокий, как порог,
выводит с освещенного крыльца
в каком-то заполярье без конца,
где все стрекочет с остря копыя
кузнечиком в траве небытия.

И если мы туда скосим глаза,
то самый звук случаен, как слеза.

СТЕЛЫ И НАДПИСИ

1982



*Нине Брагинской,
проникновенно изучившей этот предмет*

МАЛЬЧИК, СТАРИК И СОБАКА

Мальчик, старик и собака. Может быть, это надгробье женщины или старухи.

Откуда нам знать,
кем человек отразится, глядя в глубокую воду,
гладкую, как алебастр?

Может, и так:

мальчик, собака, старик.

Мальчик особенно грустен.

– Я провинился, отец, но уже никогда не исправлюсь.

– Что же, – старик говорит, – я прощаю, но ты не услышишь.

Здесь хорошо. – Здесь хорошо? – Здесь хорошо. –

в коридорах

это является. – Вот, ты звал, я пришел.

Здравствуй, отец, у нас перестроили спальни.

Мама скучает. – Сын мой, поздний, единственный, слушай,

я говорю на прощанье: всегда соблюдай благородство,
это лучшее дело живущих...

– Мама велела сказать....

– Будешь ты счастлив.

– Когда?

– Всегда.

– Это горько.

– Что подделаешь,

так нам положено.

Молча собака глядит
на беседу: глаза этой белой воды,
этой картины –
«мальчик, собака, старик».

ЖЕНСКАЯ ФИГУРА

Отвернувшись,
в широком большом покрывале
стоит она. Кажется, тополь
рядом с ней.
Это кажется. Тополя нет.
Да она бы сама охотно в него превратилась
по примеру преданья –
лишь бы не слушать:
– Что ты там видишь?
– Что я вижу, безумные люди?
Я вижу открытое море. Легко догадаться.
Море – и все. Или этого мало,
чтобы мне вечно скорбеть, а вам – досаждать
любопытством?

ДВЕ ФИГУРЫ

Брат и сестра? муж и жена? дочь и отец? все это и больше?
Кто из них умер, кто жив

и эту плиту заказал,
памятник встречи?

Кто и кого на прощанье
хочет запомнить? не робко, не жадно. Запомнить
нужно немного, многого мы не выносим:
горсть родимой земли на чужбине – больше не нужно.
Остальное останется там, где ему хорошо.

Взгляд внимательный, смерть, ты не отнимешь –
законную горсть
у того, кто уходит, о нас печалась. Кто же уходит?
кто, соскучившись в долгой разлуке, к милой руке
наконец прикасается? –

тень к тени, бывшее к бывшему,
белое к белому. Что они там говорят?

Говорят: – Это так. – Я клянусь, это так.

– Так оно было и будет.
даже если не будет. Так.

Прохожий, люби свою жизнь,
благодари за нее. Тени мало что надо:
памятник встречи.

ГОСПОЖА И СЛУЖАНКА

Женщина в зеркало смотрит: что она видит – не видно; вряд ли там что-нибудь есть. Впрочем, зачем же тогда любоваться одним и гадать, как поправить другое той или этой уловкой? зачем себя изучать? Видно, что-то там есть. Что-то требует ласковой мази, бус и подвесок. Молча служанка стоит в ожидании просьбы, которой она не исполнит. Да, мы друг друга ни разу не поняли. Это понятно. Это было нетрудно. Труднее другое: мы знали все о каждом. Все, до конца, до последней нежной его бесконечности. Не желая, не думая – знали. Не слушая, знали и обсуждали в уме его просьбу, с которой он к нам не успел обратиться и даже подумать. Еще бы. Просьба одна у нас всех; ничего-то и нет кроме этой просьбы.

КУВШИН. НАДГРОБЬЕ ДРУГА

Хочешь – кувшин, хочешь – копье, хочешь – прялку.
Если лгали про локон, как он на небе нашелся, –
лгали недаром.
Ум печальный отыщет в мельчайшей вещице
вещество, из которого сложены наши созвездья,
звуки беззвучных имен, –
она загорится, совется,
как гирлянда в гирляндах, ласкающих смертное сердце:
каждый вечер Персей Андромеду спасает – и каждый
знает, какая звезда спасает его, подхватив
того, кто больше не с нами. Что хочешь ему – то отдай.
Хочешь – кувшин, хочешь – копье, хочешь – прялку.
Что подвернется, он больше не просит. И это сумеет.
стать как все: нужно только за все не цепляться,
положить эти медные деньги. Он сам разберется,
руку поднимет, какой мы здесь не видали,
руку созвездья. Возьми, перевозчик, ты видишь,
как мы живем на земле:

Прялка. Плуг. Копье. Кувшин.

ИГРАЮЩИЙ РЕБЕНОК

И в предчувствии мы проживаем
 то, чего жить не придется. Великую славу.
 Брачную ночь. Премудрую, бодрую старость.
 Внуков – детей того сына, которого нет.
 Нет, не пустая мечта человеческим сердцем играет.
 Знает ребенок, зачем он так странно утешен.
 Чем он играет.
 Мы не видим лица. Мы глядим на него, как из двери
 мать поглядела – и тут же спокойно уходит:
 и он играет. Белый луч на полу,
 – Он еще поиграет,
 я успею доделать, что нужно.

Время не ждет, он играет.
 Перед самым несчастьем предчувствие нас покидает:
 это уже не снаружи, это мы сами. Прекрасно.
 в этой неслышимой музыке, в комнате белой.
 Так он в сердце играет,
 ребенок, играющий в шашки.

НАДПИСЬ

Нина, во сне ли, в уме ли, какой-то старинной дорогой
шли мы однажды, как мне показалось, вдоль многих
белых, сглаженных плит.

– Не Аппиева, так другая –
ты мне сказала. – это не важно. У их городов
мало ли было дорог,
которые к гробу от гроба
переходили. – Здравствуй! – слышали мы, –
здравствуй! /мы знаем, это любимое слово прощанья/.
Здравствуй! как ясно ты смотришь на милую землю.
Остановись: я гляжу глазами огромней земли.
Только отсутствие смотрит. Только невидимый видит.
Так скорее иди: я обгоняю тебя.

ЯМБЫ

1984 – 1985



ПЯТЫЕ СТАНСЫ

DE ARTE POETICA

1

Большая вещь – сама себе приют.
Глубокий скит или широкий пруд,
таинственная рыба в глубине
и праведник, о не вечернем дне
читающий урочные Часы.
Она сама – сосуд своей красы.

2

Как в раковине ходит океан –
сердечный клапан времени, капкан
на мягких лапах, чудище в мешке,
сокровище в снотворном порошке –
так в разум мой, в его скрипучий дом
она идет с волшебным фонарем...

3

Не правда ли, минувшая строфа
как будто перегружена? Лафа
тому, кто наяву бывал влеком
всех образов сребристым косяком,
несущим нас на острых плавниках
туда, где мы и все, что с нами, – прах.

4

Я только в скобках замечаю: свет –
достаточно таинственный предмет,
чтоб говорить Бог ведает о чем,
чтоб речь, как пыль, пронзенная лучом,
крутилась мелко, путано, едва...
Но значила – прозрачность вещества.

5

Большая вещь – сама себе приют.
Там скачут звери и птенцы клюют
свой музыкальный корм. Но по пятам
за днем приходит ночь. И тот, кто там,
откладывает труд: он видит рост
магнитящих и слезотворных звезд.

6

И странно: как состарились глаза!
им видно то, чего глядеть нельзя,
и прочее не видно. Так из рук,
бывает, чашка выпадет. Мой друг,
что мы как жизнь хранили, пропадет-
и незнакомое звездой взойдет...

7

Поэзия, мне кажется, для всех
тебя растят, как в Сербии орех

у монастырских стен, где ковш и мед,
колодец и небесный ледоход, –
и хоть на миг, а видит мирянин
свой ветхий век, как шорох вешних льдин...

8

– О, это все: и что я пропадаю,
и что мой разум ныл и голодал,
как мышь в холодном погребе, болел,
что никого никто не пожалел –
все двинулось, от счастья очумев,
как «все пройдет», горациев припев...

9

Минуту, жизнь, зачем тебе спешить?
Еще успеешь ты мне рот зашить
железной ниткой. Смилуйся, позволь
раз или два испробовать пароль:
«Большая вещь – сама себе приют»,
она сплет, когда нас отпоют –

10

и, говорят, прекрасней. Но теперь
полуденной красы ночная дверь
раскрыта настежь; глубоко в горах
огонь созвездий, ангел и монах,
при собственной свече из глубины
вычитывает образы вины...

11

Большая вещь – утрата из утрат.
Скажу ли? взгляд в медиоланский сад:
приструнен слух; на опытных струнах
играет страх; одушевленный прах,
как бабочка, глядит свою свечу:
– Я не хочу быть тем, что я хочу! –

12

И будущее катится с трудом
в огромный дом, секретный водоем...



ЭЛЕГИЯ, ПЕРЕХОДЯЩАЯ В РЕКВИЕМ

Tuba mirum spargens sonum...

1

Подлец ворует хлопок. На неделе
 постановили, что тискам и дрели
 пора учить грядущее страны,
 то есть детей. Мы не хотим войны.
 Так не хотим, что задрожат поджилки
 кой у кого.

А те под шум глушилки
 безумство храбрых славят: кто на шаре,
 кто по волнам бежит, кто переполз
 по проволоке с током, по клоаке –
 один как перст, с младенцем на горбе –
 безвестные герои покидают
 отечества таинственные, где

подлец ворует хлопок. Караваны,
 вагоны, эшелоны... Белый шум...
 Мы по уши в бесчисленном сырце.
 Есть мусульманский рай или нирвана
 в обильном хлопке; где-нибудь в конце
 есть будущее счастье миллиардов:
 последний враг на шаре улетит –
 и тишина, как в окнах Леонардо,
 куда позирующий не глядит.

Но ты, поэт! классическая туба
не даст соврать; неслышимо, но грубо
военный горн, неодолимый горн
велит через заставы карантина:
подъем, вставать!

Я, как Бертран де Борн,
хочу оплакать гибель властелина,
и даже двух.

Мне провансальский дух
внушает дерзость. Или наш сосед
не стоит плача, как Плантагенет?

От финских скал до пакистанских гор,
от некогда японских островов
и до планин, когда-то польских; дале –
от недр земных, в которых ни луча,
праматерь нефть, кормилица концернов,
до высоты, где спутник, щебеча,
летит в капкан космической каверны –
Пора рыдать. И если не о нем,
нам есть о чем.

3

Но сердце странно. Ничего другого
 я не могу сказать. Какое слово
 изобразит его прискорбный рай? –
 что ни решай, чего ни замышляй,
 а настигает состраданья мгла,
 как бабочку сачок, потом игла.
 На острие чьего-либо крушенья
 и выставят его на обозренья.
 Я знаю неизвестно от кого,
 что нет злорадства в глубине его –
 там к существу выходит существо,
 поднявшееся с горном состраданья
 в свой полный рост надгробного рыданья.
 Вот с государственного катафалка,
 засыпана казенными слезами'
 (давно бы так!) – закрытыми глазами
 куда глядит измученная плоть,
 в путь шедше скорбный?... Вот Твой раб,
 Господь,
 перед Тобой. Уже не перед нами.

Смерть – Госпожа! чего ты не коснешься,
 все обретает странную надежду –
 жить наконец, иначе и вполне.
 То дух, не приготовленный к ответу,
 с последним светом повернувшись к свету,
 вполне один по траурной волне
 плывет. Куда ж нам плыть...

4

Прискорбный мир! волшебная красильня,
торгующая красками надежды.
Иль пестрые, как Герион, одежды
мгновенно выбелит гидроперит
немногих слов: «Се, гибель предстоит...»
Нет, этого не видывать живым.
Оплачем то, что мы хороним с ним.

К святым своим, убитым, как собаки,
зарытым так, чтоб больше не найти,
безропотно, как звезды в зодиаке,
пойдем и мы по общему пути,
как этот. Без суда и без могилы
от кесаревича до батрака
убитые как это *нужно было*,
давно они глядят издалека.

– Так нужно было, – изучали мы. –
для быстрого преодоления тьмы. –
Так нужно было. То, что нужно *будет*
пускай теперь кто хочет, тот рассудит.

Ты, молодость, прощай. Тебя упырь
сосал, сосал и высосал. Ты, совесть,
тебя едва ли чудо исцелит –
да, впрочем, если где-нибудь болит,
уже не здесь. Чего не уберечь,
о том не плачут. Ты, родная речь,
наверно, краше он в своем гробу,
чем ты теперь. О тех, кто на судьбу
махнул – и получил свое.

О тех,
кто не махнул, но в общее болото
с опрятным отвращением входил,
из-под полы болтая анекдоты.
Тех, кто допился. Кто не очень пил,
но хлопок воровал и тем умножил
народное богатство. Кто не дожил –
но более того, кто пережил!

У ж мы-то знаем: власть пуста, как бочка
с пробитым дном. Чего туда не лей,
не сыпь, не суй – не сделаешь полней
ни на вершок. Хоть полстраны – в мешок
да в воду, хоть грудных поставь к болванке,
хоть полпланеты обойди на танке –
покоя нет. Не снится ей покой.
А снится то, что будет под рукой,
что быть *должно*. Иначе кто тут правит?
Кто посреди земли себя поставит,
тот пожелает, чтоб земли осталось
не более, чем под его пятой.
Власть движется, воздушный столп витой,
от стен окоченевшего кремля
в загробное молчание провинций,
к окраинам, умершим начеку,
и дальше, к моджахедскому полку –
и вспять, как отраженная волна.

6

Какая мышеловка. О, страна –
 какая мышеловка. Гамлет, Гамлет,
 из рода в род, наследнику в наследство,
 как перстень – рок, ты камень в этом перстне,
 пока идет ужаленная пьеса,
 ты, пленный дух, изнемогая в ней,
 взгляни сюда: здесь, кажется, страшной.

Здесь, кажется, что притча – Эльсинор,
 а мы пришли глядеть истолкованье
 стократное. Мне с некоторых пор
 сверх меры мерзостно претерпеванье,
 сверх меры тошно. Ото всех сторон
 крадется дрянь, шурша своим ковром,
 и мелким, стратегическим пунктиром
 отстукивает в космос: tuba ... migum ...

Моей ученой юности друзья,
 любезный Розенкранц и Гильденстерн,
 я знаю, вы ребята деловые,
 вы скажете, чего не знаю я.
 Должно быть, так:
 найти себе чердак
 да поминать, что это не впервые,
 бывало хуже. Частному лицу
 космические спазмы не к лицу.
 А кто, мой принц, об этом помышляет,
 тому гордыня печень разрушает
 и тербит мозги. Но кто смирен –
 живет, не вымогая перемен,

а трудится и собирает плод
своих трудов. Империя падет,
палач ли вознесется высоко –
а кошка долакает молоко
и муравей достроит свой каркас.
Мир, как бывало, держится на нас.
А соль земли, какую в ссоре с миром
вы ищите – есть та же Tuba, migum...
– Так, Розенкранц, есть та же tuba, migum,
есть тот же Призрак, оскорбленный миром,
и тот же мир.

7

Прощай, тебя забудут – и скорей,
чем нас, убогих: будущая власть
глочет предыдущую, давясь, –
портреты, афоризмы, ордена...
Sic transit gloria. Дальше – тишина,
как сказано.

Не пугало, не шут
уже, не месмерическая кукла,
теперь ты – дух, и видишь все как дух.
В ужасном восстановленном величье
и в океане тихих, мощных сил
теперь молись, властитель, за народ...

8

Мне кажется порой, что я стою
у океана.

– Бедный заклинатель,
ты вызывал нас? так теперь гляди,
что будет дальше...

– Чур, не я, не я!
Уволь меня. Пусть кто-нибудь другой.
Я не желаю знать, какой тоской
волнуется невиданное море.
«Внизу» – здесь это значит «впереди».
Я ненавижу приближенье горя!

О, взять бы все – и всем и по всему
или сосной, макнув ее в Везувий,
по небесам, как кто-то говорил, –
писать, писать единственное слово,
писать, рыдая, слово: ПОМОГИ!
огромное, чтоб ангелы глядели,
чтоб мученики видели его,
убитые по нашему согласью,
чтобы Господь поверил – ничего
не остается в ненавистном сердце,
в пустом уме, на скаредной земле –
мы ничего не можем. Помоги!



БЕЗЫМЯННЫМ ОСТАВШИЙСЯ МУЧЕНИК

— **О**тречься? это было бы смешно.
 Но здесь они – и больше никого.
 До наших даже слуха не дойдет,
 исключено.
 Темница так темница –
 до окончанья мира.
 Чтобы *им*
 мое терпенье сделалось уроком?
 что им урок – хотелось бы взглянуть!
 Их ангелы, попоже, не разбудят,
 не то что вот таких, иноязычных,
 малютка – смерть среди орды смертей
 в военной области. Никто, увы,
 исключено. Никто глазами сердца
 мой путь не повторит. Там что решат?
 от кораблекрушенья, эпидемий...
 Вот напугали, тоже мне: никто.
 Чего с них требовать. Они ни разу
 не видели, как это небо близко,
 но главное – как на больных детей
 попоже... Верность? нужно быть злодеем,
 чтоб быть неверным. Уж скорей птенца
 я растопчу или пинком в лицо
 старуху мать ударю – но тебя,
 все руки протянувшее ко мне,

больные руки! Кто такое может.
Я не обижу, Господи. Никто.
Поступок – это шаг по вертикали.
Другого смысла и других последствий
в нем нет.
И разве *вам* они нужны?

ИЗ ПЕСНИ ДАНТЕ

...И мы пошли. – Maestro mio caro,
 padre dolcissimo, signor e duca!
 Ни шагу дальше, в области кошмара!

Взгляни: разве по мне твоя наука?
 О, я надеюсь: слово нам дано
 воды из глиняного акведука

стариннее; воды, в какую дно
 просвечивает в озере, яснее.
 Им все умыто и утолено.

Рука поэзии, воды нежнее
 и терпеливей – как рука святых –
 всем язвы умывает – все пред нею

равны и хороши; в дыханье их
 она вмешается, преображая
 хрип агонический в нездешний стих...

– Стой! – недосказанному возражая,
 он говорит, – и у твоей воды
 учишь хоть этому: молчать. Сажая

свои невероятные сады,
 Садовник ли их менее жалеет,
 чем ты? О, ум из нищенской руды,

что от тебя в плавильне уцелеет? –
 И тут во мне погасло все, и вдруг:
 так головня бессмысленная тлеет –

и с треском разотрет ее каблук.
В собачий лай и шип многообразный,
как пес, вперед меня понесся слух.

Их было много. Край мой безобразный! –
их было столько, будто кроме них
(рептилии, да страх, да лай заразный)

никто не выпестован на твоих
пространствах достославных. Ширь славянства!
мне показалось: я среди живых...

Те скалятся, а те шипят; пространство
жалят, пугают и клыками рвут,
и постоянство лая постоянство

шипенья разряжает: ибо тут
мотком змеи в разинутые пасти
бес мечет. То-то благодарный труд.

О соловьи казенные... о сласти...
И, жвачкой жалящей уязвлены,
все с новым воем издыхают власти:

Лови! он враг! он на врагов страны
работает! народное искусство!
должны, должны! а те, кто не должны!... –

и снова гады их приводят в чувство.
– Я здесь таков, а был тебе знаком –
не узнаешь? не без шестого чувства

в родном и светлом воздухе земном
я обитал; не без шестого чувства

в родном и светлом воздухе земном
я обитал; меня хрустальным звуком
Тот наделил, – и он вильнула хвостом.

– иные здесь и не знакомы с луком
тех Дельф свержзвуковых. Но я ловил,
ловил, бывало... – Шмяк! к зубовным стукам

в разинутую шавку угодил. –
– в том мире, где наш семицветный спектр, –
он продолжал, – я совесть уходил,

как рыбу палкой: тоже мне, инспектор!
Другие хуже – я стоял на том.
Совесть же – видишь – биоархитектор:

она мне здесь и выстроила дом –
быть жвачкой несжираемой и лютой
для тех, кому служил я соловьем.

Друг красоты! единственной минутой
пожертвуй, чтобы надо мной рыдать,
скорее уж Кайяфой, чем Иудой... –

– Пора. – И мы пошли. И если вспять,
к знакомой змейке, чудно изумрудной,
еще искало зренье припадать –

передо мной был только путь подспудный.

ЭЛЕГИЯ ЛИПЕ

Но следа стопы не оставит
вершиной пахнущий шаг.
Я чувствую, как нарастает
несущий нас кверху размах.

Из стихов школьных лет

К деревьям тоже можно привязаться,
как к человеку, и еще сердечней;
их, может, не придется хоронить –
уж справедливее тогда остаться
тебе, не мне: вы проще, долговечней...
Последний слух и тронуть и унять

как хорошо, когда, подруга-липа,
ты бы явилась. Ваше равнодушие –
конечно, невнимательная ложь.
Кто знает мысли, подвижные в листьях?
Глаза ствола кто подстерег? те, ваши
глаза движенья? – равенство и дрожь

и *все равно*, и притяженье света,
особенное вечером ненастным,
когда покажется: сейчас пойму
все, все... – и тут прижизненная Лета
впадает в ум, и с лепетом древесным
слова скрываются в родную тьму,

как плавающий взгляд новорожденных:
скорбя о всем, высказывая жалость
еще ничью на языках ничьих...
И много лучше, чем в глазах влюбленных –
или не так? – исчезнуть, отражаясь

в глазах деревьев – в помощи очах
и отпущенья. Дым благоприятный,
рассеиваясь по пути, до неба
доносит только то, что нет его.
Не так ли, липа? цветочные пятна,
все эти ветки, листья и движенья...
Исчезновение – наше существо.

С тех самых пор, как дачную террасу
твоя магнитная сжимала сила
до роковой летающей доски –
и вверх, и вниз, и больше вверх, и сразу
всем вихрем вниз – как будто бы просило
расколошматить сердце на куски,

и поскорее. – Боже неизвестный,
чего ты хочешь если это правда,
что хочешь ты? огня, пустыни, змей? –
и вниз доска, сама себе не рада...
С тех самых пор я по тоске древесной
прекрасно знаю о тоске моей.

Но ты кивни – и побредут картины –
такие же, из той же жизни тесной –
в несвойственной им золотой пыли:
благословил ли их огонь небесный,
свет неизвестный Славы или Шехины
за то одно, что были и прошли?

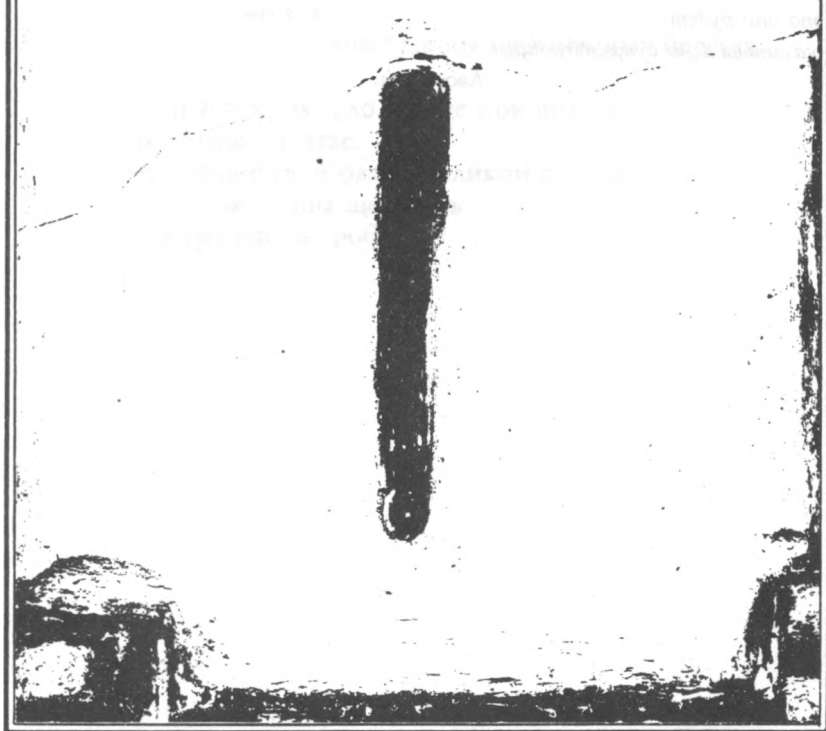
Увы, нас время учит не смиренью,
а недоверью. В этой скорбной школе
блажен, кто не учился до конца!
Того не бросят, с ним идут деревья,

как инструменты музыкальной боли
за причетом фракийского певца.

Вся музыка повернута в родную,
неровную и чуткую разлуку.
которую мы чуем, как слепой –
по теплоте. И я в уме целую
простую мне протянутую руку –
твой темный мир и бледно-золотой.

КИТАЙСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

1986



*Если притупить его пронизательность,
освободить его от хаотичности,
умерить его блеск,
уподобить его пылинке,
то оно будет
казаться ясно существующим.*

Лао - цзы.

1

Именя удивило:
как спокойны воды,
как знакомо небо,
как медленно плывет джонка в каменных берегах.

Родина! вскрикнуло сердце при виде ивы:
такие ивы в Китае,
смывающие свой овал с великой охотой,
ибо только наша щедрость
встретит нас за гробом.

2

Пруд говорит:
были бы у меня руки и голос,
как бы я любил тебя, как лелеял.
Люди, знаешь, жадны и всегда болеют
и рвут чужую одежду
себе на повязки.
Мне же ничего не нужно:
ведь нежность – это выздоровленье.
Положил бы я тебе руки на колени,
как комнатная зверушка,
и спускался сверху
голосом как небо.

6

Только увижу
путника в одежде светлой, белой –
что нам делать, куда деваться?

только увижу
белую одежду, старые плечи –
лучше б глаза мои были камнем,
сердце – водою.

только увижу
что бывает с человеком –
шла бы я за ним, плача:
сколько он идет, и я бы шла, шагала
таким же не спорящим шагом.

7

Лодка летит
по нижней влажной лазури,
небо быстро темнеет
и глазами другого сапфира глядит.
Знаешь что? мне никто никогда не верил
(как ребенок ребенку,
умирая от собственной смелости
сообщает: да, а потом зарыли
под третьей сосной). Так и я скажу:
мне никто никогда не верил,
и ты не поверишь,
только никому не рассказывай,
пока лодка летит, солнце светит
и в сапфире играет
небесная радость.

8

Крыши, поднятые по краям,
как удивленные брови:
Что вы? неужели? рад сердечно!
Террасы, с которых вечно
видно все, что мило видеть человеку:
сухие берега, серебряные желтоватые реки,
кустов неровное письмо – любовная записка,
двое прохожих низко
кланяются друг другу на понтонном мосту
и ласточка на чайной ложке
подносит высоту:
сердечные капли, целебный настой.
Впрочем, в Китае никто не болеет:
небо умеет
вовремя ударить
длинной иглой.

9

Несчастен,
кто беседует с гостем и думает о завтрашнем деле;
несчастен,
кто делает дело и думает, что он его делает,
а не воздух и луч им водят,
как кисточкой, бабочкой, пчелой
кто берет аккорд и думает,
каким будет второй –
несчастен боязливый и скупой.

И еще несчастней,
кто не прощает:
он, безумный, не знает,
как аист ручной из кустов выступает,
как шар золотой
сам собой взлетает
в милое небо над милой землей.

11

С нежностью и глубиной –
ибо только нежность глубока,
только глубина обладает нежностью –
в тысяче лиц я узнаю
кто ее видел, на кого поглядела
из каменных вещей, как из стеклянных,
нежная глубина и глубокая нежность.

Так зажигайся,
теплый светильник запада,
фонарь, капкан мотыльков.
Поговори еще
с нашим светом домашним,
солнце нежности и глубины,
солнце, покидающее землю,
первое, последнее солнце.

12

Может, ты перстень духа,
камень голубой воды,
голос, говорящий глухо
про ступенчатые сады, –
но что же с плачем мчится
крылатая колесница,
ветер, песок, побережье
океан пустой,
и нельзя проститься,
негде проститься с тобой.
О, человек простой –
как соль в воде морской:
не речь, не лицо, не слово,
только соль, и йод, и прибой. –
Не имея к кому обратиться,
причитает сам с собой:
может, ты перстень духа,
камень голубой воды,
голос, говорящий глухо
про небывалые сады.

14

Флейте отвечает флейта,
не костяная, не деревянная,
а та, которую держат горы
в своих пещерах и щелях,
струнам отвечают такие же струны
и слову слово отвечает.

И вечерней звезде, быстро восходящей
отвечает просьба моего сердца:

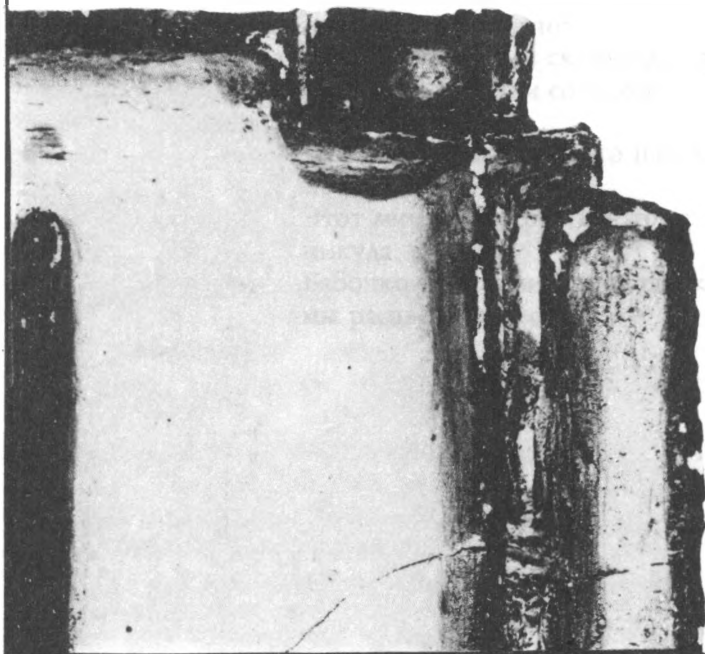
Ты выведешь тысячи звезд
вечерняя звезда,
и тысячами просьб
зажжется мое сердце,
мирадами просьб об одном и том же:
просыпайся,
погляди на меня, друг мой вдохновенный,
посмотри, как ночь сверкает...

18

Похвалим нашу землю,
похвалим луну на воде,
то, что ни с кем и со всеми,
что нигде и везде –
величиной с око ласточки,
с крошку сухого хлеба
с лестницу на крыльях бабочки
с лестницу, кинутую с неба.
Не только беда и жалость –
сердцу моему узда,
но то, что улыбалась
чудесная вода.
Похвалим веток бесценных, темных
купанье в живом стекле
и духов всех, бессонных
над каждым зерном в земле.
И то, что есть награда,
что есть преграда для зла,
что, как садовник у сада, –
у земли хвала.

ЭЛЕГИИ

1987 – 1990



БАБОЧКА ИЛИ ДВЕ ИХ

Памяти Хлебникова

1

Те, кто жили здесь, и те, кто живы будут
и достроят свой чердак,
жадной злобы их не захочу я хлеба:
что другое – но не так.

Но и ты, и ты, с кем жить могла бы
жить и в леторасли земной,
поглядев хотя б глазами скифской бабы,
но, пожалуйста, пройди со мной!

Что нам злоба дня и что нам злоба
ночи?
Этот мир, как череп, смотрит:
никуда, в упор.
Бабочкою, Велимир, или еще короче
мы расцвечивали сор.

Бабочка летает и на небо
пишет скорописью высоты.
В малой мельничке лазурного
оранжевого хлеба
мелко-мелко смелются чьи-
нибудь черты.

Милое желание сильнее
силы страстной и простой.
Так быстрее, быстрее! – еще я разумею –
нежной тушью, бесполезной высотой.

Начерти куда-нибудь три-четыре слова,
напиши кому-нибудь, кто там:
на коленях мы, и снова,
и сто тысяч снова

на земле небесной
мы лежим лицом к его ногам.

Потому что чудеса великолепней речи,
милость лучше, чем конец,
потому что бабочка летает на страну далече,
потому что милует отец.

ЭЛЕГИЯ ОСЕННЕЙ ВОДЫ

Памяти Сергея Морозова и Леонида Губанова

1

Ты становится вы,
 вы все,
 они.

Над концами их, над самоубийством
 долго ли нам стоять, слушая, как с вещим свистом
 осени сокращаются дни?

2

Зима и старость глядят в лицо мне. Не по-людски
 смелыми глазами глядят зима и старость:
 нужно им испробовать, что там осталось,
 на волчий зуб, на зуб уничтожающей тоски.

3

Поднимись, душа моя, встань, как Критский Андрей говорит.
 Поздно, не поздно – речь
 не наша, пусть ее от других услышат.
 Зима и старость белое слово пишут
 в воздухе еще жарком: пламя незримых свеч

4

в темноте еще зримой; будущие следы
на снегу, до которого долго. Сережа, Леня,
помните, как земля ахнет на склоне,
увидав внизу
факел предзимней воды?

5

Со старым посохом я обхожу все те
же нивы, как всегда несжатые, тайфуны
земляного моря, слабые водные струны,
от которых холмы раскатились, в высоте

6

повторяя звук родника, похожий на ... да,
молоточки какие-то, из восточных –
То ли волосяные гребенки во рту проточных
вод, из молчания выходящих сюда?

7

Из огня молчания в бледном огне
шелеста – бренчанья – полупенья
вниз глядит вода,
вниз идет согбенная.
Обратясь ко мне,
кто-то говорит:
Есть ли что воды смиренней?

8

Что смиреннее воды? она
терпенья терпеливей, она, как имя Анна,
благодать, подающий нищий, все карманы
вывернувший перед любым желаньем дна.

9

Всякую вещь можно открыть, как дверь.
В занебесный, в подземный ход потайная дверца
есть в них.
Ее нашарив, благодарящее сердце
вбежит – и замолчит на родине.
Мне теперь

10

кажется,
что ничто быстрее туда
не ведет, чем эта, сады пустые,
растенья
луговые, лесные, уже не пьющие, –
чем усыпление
обегающая бессонная вода

11

перед тем, как сделаться льдом, сделаться сном,
стать как веки, стать как верная кожа
засыпавшего в ласке, видящего себя вдвоем
дальше во сне...
Вещи, в саду своем
вы похожи на любовь – или она на вас похожа?

12

Поэт – это тот, кто может умереть
там, где жить – значит: дойти до смерти.
Остальные пусть дурят кого выйдет.
На пустом конверте
пусть рисуют свой обратный адрес.
Одолеть

13

вечное любознательство и похоть – по нам ли труд,
Муза, глядящая вымершими глазами
чудовищного коня, иссекшего водное пламя
из скалы, на которой не живут

14

ни деревья, ни звери, ни птицы. Только вы,
тонкие тени. И вы как ребенок светловолосый,
собирающий стебли белесой

святой
сухой
травы.

15

С этим-то звуком смотрят Старость, Зима и Твердь.
С этим свистом крылья по горячему следу
над государствами длинными, как сон, и
трусливыми, как смерть,
нашу богиню несут –
Музу Победу.



ЭЛЕГИЯ СМОКОВНИЦЫ

Ивану Жданову

Дерево, Ваня, то самое, смоковницу ту
на старой книжной гравюре, на рыхлой бумаге верже
узнаешь?

Листья еще сверкают, ветки глотают свою высоту,
но время вышло. Гнев созрел. Слово в горле уже.

– Бедная, – говорю я в себе, – ты свое заслужила.
Ты масла с собой не взяла, ты терпенья в ум не вложила
и без факела выйдешь, без факела выйдешь – позор! –

к Тому, кто не извещал ни о дне, ни о часе,
но о том, что небо нуждается в верности,
светильник – в масле,
жажда – в плодах.
Остальное приходит, как вор.

Вот и не войдешь в дом этой свадьбы, в среду ликованья
И не прольешь, обмирая от недоброго предсказанья
дорогой аромат, за который ты отдала

все, что имела.
 И не проводишь его на мученье,
 чувствуя, как сыновнее предпочитают почтенье
 всей надежде и помощи.
 И как смерть подошла

не изнутри, но требуя приказанья:
Открыто,
 войди!
 И все, что прежде: что осмеяно, оплевано, бито,
 что чужим достанется, как нешитый хитон.

А ты, выбирала, безумная, жить. – Правда, любой
выбирает.
 жить и смотреть без конца, как весна идет,
птицы играют,
 птенцов выводят, колосья блестят, шумит каменистый Кедрон..

– Я просил, – ты помнишь, Он говорил? –
что Я дам, дело другое, дело не ваше.
 Я болен – кто навестил меня?
 Я пить хочу – где чаша?
 Лисы язвины имут и птицы гнездо, Я стучу – где мой дом?

...С огнем
или без огня удаляясь, в темноте не видна уже юродивая дева.
Я вижу внутри, в темноте, чудным гневом убитое дерево
и не вижу того, кто сказал бы ему: Поделом! –

и кто от надежды долгой и бесплодной,
от неверного утомительного труда
выбежит как сумасшедший:
вон из жизни свободной!
куда угодно,
прежде чем посох ударит со словом: Куда!

Что же делать нам, друг, что делать, брат, какое
забытье придет? Или оно, как факир,
выдернет из-под рваной полы стаю птиц, изумруд, полотно
золотое?
О, внутри, где их нет, они лучше.
Когда их не ждут, они лучше, чем мир.

Кто просит – однажды получит.
Кто просит прощенья –
однажды будет прощен. Кто от стыда не поднимет лица –
тот любимее всех. Сердце ему обнимает лишение,
как после долгой разлуки жениха обнимают или отца.

ВАРЛААМ И ИОАСАФ

Старец из пустыни Сенаарской...

Русский духовный стих

1

Старец из пустыни Сенаарской
в дом приходит царский:
он и врач,
он и перекупщик самоцветов.
Ум его устроив и разведав,
его шлют недоуменный плач
превратить во вздох благоуханный
о прекрасной,
о престранной
родине, сверкнувшей из прорех
жизни ненадежной, бесталанной,
как в лачуге подземельной смех.

Там, в его пустыне, семенами
чудными полны лукошки звезд.
И спокойно во весь рост
Сеятель идет над бороздами
вдохновенных покаянных слез:
только в пламя засевают пламя,
и листают книгу не руками
и не жгут лампы над строками,
но твою, о ночь, возлюбленную нами,
выжимают световую гроздь.

Но любого озаренья
и любого счастья взгляд
он без сожаления оставит:
так садовник сажит, строит, правит –
но хозяин *входит* в сад.
Скажет каждый, кто работал свету:
ангельскую он прервет беседу
и пойдет куда велят.

Потому что вверх, как вымпел,
поднимает сердце благодать,
потому что есть любовь и гибель,
и они – сестра и мать.

2

— **М**не не странно, старец мой чудесный, —
говорит царевич, — хоть сейчас,
врач, ты подними меня с постели тесной,
друг, ты уведи от сласти неуместной.
Разве же я мяч в игре бесчестной,
в состязанье трусов и пролаз?

Строят струны, звезды беспокоят.
Струны их и звезды ничего не стоят,
все они отвернуты от нас.

И я руку поднимаю
и дотрагиваюсь — и при мне
рвется человек, как ткань дурная,
как бывает в страшном сне.
Но от замысла их озлобленья
не прошу я: сохрани! —
бич стыда и жало умиленья
мне страшнее, чем они.

Мне страшнее, старец мой чудесный,
нашего свиданья час,
худоба твоя, твой Царь Небесный,
Царь твой тихий, твой алмаз.

Ветер веет, где захочет.
Кто захочет, входит в дом.
То, что знают все, темнее ночи.

Ты один вошел с огнем. Как глаза,
изъеденные дымом,
так вся жизнь не видит и болит.
Что же мне в огне твоём любимом
столько горя говорит?

Если бы ты знал, какой рукою
нас уводит глубина! –
о, какое горе, о, какое
горе, полное до дна.

3

И как сердце древнего рассказа,
бьется в разных языках –
не оставивший ни разу
никого пропавшего, проказу
обдувающий, как прах,
из прибоя поколенья
собирающий Себе народ –
Боже правды, Боже вразумленья,
Бог того, кто без Тебя умрет.

ЗЕМЛЯ

Сергею Аверинцеву

Когда на востоке вот-вот загорится глубина ночная,
Земля начинает светиться, возвращая

избыток даренного, нежного, уже не нужного света.
То, что всему отвечает, тому нет ответа.

И кто тебе ответит в этой юдоли,
простое величье души? величье поля,

которое ни перед набегом, ни перед плугом
не подумает защищать себя: друг за другом

Все они, кто обирает, топчет, кто вонзает
лемех в грудь как сновиденье за сновиденьем, исчезают

где-нибудь вдали, в океане, где все, как птицы, схожи.
И земля не глядя видит и говорит: Прости ему, Боже! –

каждому вслед.

Так, я помню, свечку прилаживает к пальцам
прислужница в Пещерах каждому, кто спускается к
старцам,

как ребенку малому, который уходит в страшное место,
где слава Божья, – и горе тому, чья жизнь – не невеста,

где слышно, как небо дышит и почему оно дышит.
– Спаси тебя Бог, – говорит она вслед тому, кто ее не слышит...

... Может быть, умереть – это встать наконец на колени?
И я, которая буду землей, на землю гляжу в изумленье.

Чистота чище первой чистоты! из области ожесточенья
я спрашиваю о причине заступничества и прощенья,

я спрашиваю: неужели ты, безумная, рада
тысячелетьями глотать обиды и раздавать награды?

Почему они тебе милы, или чем угодили?

– Потому что я есть, – она отвечает. –
Потому что все мы *были*.



Заметки и воспоминания
о разных стихотворениях, а также
ПОХВАЛА ПОЭЗИИ *

Я сочиняла стихи сколько себя помню и раньше этого. Вот одно стихотворение дошкольных лет:

*Не будя человеком,
Я думала тогда:
Зачем нам эти реки
И в них зачем вода?
Но, будя человеком,
Я думаю тогда:
Нужны нам эти реки
И в них нужна вода.*

Не знаю, что имелось в виду под «не будя человеком» – кем будя? Но реки вне зависимости от воды я так же ясно представляла тогда, как теперь. Мир нигде так не целен, как в строфической форме. Об этом пишет Елена Шварц:

*Скорей свяжи сравнений цепью
Весь этот мир,
Не то растает, унесется
В глухой эфир.*

* В отрывках. Полностью опубликовано в журнале «Волга» N 6, 1991.

Мне никогда не казалось, что от сравнений – и от поэзии вообще – что-то зависит. Наоборот, она мне представлялась вещью бесконечно зависимой и почти исчерпывающей своей зависимостью – от чего? от расположения звезд, от состояния печени, от подземного гула? не знаю. В поэзии я люблю роковое. Например:

*Меж нив золотых и пажитей зеленых
Оно, синяя, стелется широко,
Через его неведомые воды
Плывет рыбаки...*

Потому ли, что это уже небо, а не озеро; потому ли, что всего этого на свете нет и быть не может – и, тем не менее, только оно и есть; одним словом, неизвестно почему, от этих стихов в детстве мне хотелось что-нибудь разбить, хотя бы ближайшую посуду: я видела, как с этим сине-зелено-золотым пейзажем Неведомого на нас, как хищная птица, может, как орел к Ганимеду, спускается судьба «Софокла уже, не Шекспира» (как совсем по другому поводу сказала Ахматова). Роковыми мне кажутся вполне воплощенные стихи.

* * *

С некоторых пор поэтический взгляд стали отождествлять с взглядом ребенка: Рильке, Хлебников, Пастернак, и не они одни, этому способствовали. Это отождествление во многих случаях несправедливо. В поэтичности Пушкина нет ничего общего с углом зрения ребенка, например. У многих великих лириков угол зрения – юность. «Детские» поэты обычно сложнее для читателя – именно потому, что проще: они выбирают самый краткий путь выражения некоторых вещей, самый прямой, не удлиненный позднейшими условиями: из А в В можно попасть только через С, которое в стороне. Почему? потому

что иначе автобус не ходит. От предмета к предмету (метафора) можно попасть только таким путем, каким привык ходить наш ум. Так же – от посылки к выводу, и т.п.

Правда, те вещи, о которых они самым прямым образом говорят, относятся не то к вечно забытым, не то к вечно невнятным, не то к непроезжим для автобуса. Но ведь А и В искусства расположены в воздухе, и пути его – воздушные пути. «Детские» поэты также метафизичнее; вернее, их интересует по большей части «природа вещей» (а любовная лирика и вообще герой с биографией им мало доступны). «Природой вещей» и занято детство, оно приноравливает имена к вещам и должно как-то справиться с многообразием единого и с тягой каждой мелочи занять место этого единого. И когда плавающее и необъятное, слабое и огромное, как облако цветочной пыли, явление вдруг складывает крылья, вроде бабочки, и садится, становясь, например, «сундуком» или «зимой», – и оставляет за собой возможность раскрыть совсем другие крылья, чем только что сложило, и улететь и назваться иначе или вообще никак – этот момент вызывает восторг, какого уже никогда не доставит торжество добра над злом, скажем. Это исключительно познавательная этика, если только за «познанием» мы сохраним значение приобщения к какому-то единственному, животворящему, чудесному смыслу; к тому же с условием, что приобщение это спускается сверху, а не добывается силой. Может быть, с этих лет количество прошлого только убывает: тогда-то было явно, что с нами уже было все (хотя бы потому, что всякая малость неоспоримо относилась ко *всему*), и это «было» ничем не отличалось от «будет» – как и должно быть с настоящим прошлым. Это, вероятно, года в три – четыре.

Та самая квази-бабочка, про которую я говорила, потом явится снова – и какое-нибудь изречение, прочитанное впервые и как будто во второй раз, будет явно кроватью с красным

одеялом в глубине комнаты; крылья какой-нибудь встречи раскроет сундук в темном коридоре, над которым нафталином и снегом пахнут шубы; в образе музыкальной фразы явится вишня в дачном окне. Старые знакомые, они и не называют себя, не вытягивают всей своей данности за ниточку одного признака, как у Марселя Пруста, – они ведь и тогда были не вполне собой. Были тяжелыми, как одеяло, слезами в горле, или мелькающим столпом золотой пыли в груди, или «свистом тоски, которая не с меня началась», как сказал Пастернак. Они были не перед глазами, а за спиной. Или: вместо меня.

Ю. М. Тынянов говорит, что Пастернак (показательно детский поэт) дает нам связь вещей, которой у нас до того не было. Была она, уверяю. Связей было сколько угодно, пока еще ничего толком не развязано, и «оно само», нечто целое, явно господствует над всеми раздельными вещами, каждая из которых – только мгновенное сужение этого целого, сгущение и втискивание всеприсутствующего и всеисполняющего в горящий куст какой-нибудь вещи. Это чудо не удивит ребенка. Никакое превращение его не удивит, в том числе превращение «всего» в «одно из». И наоборот. В сравнении и метафоре присутствуют не только два их очевидных члена: важнее этих двух – третье: общая стихия их родственности. То есть, то самое *целое*, реальность которого выявляется в чудесных метаморфозах. Об этом *целом* главным образом и говорит всякое сравнение –

*Переключка парохода
С пароходом вдалеке, —*

а не об уточнении одного неизвестного через другое, не более известное.

И поскольку это общее: Он – Она – Оно – было радо нам и ради нас, к нашему приходу прекрасно, все его повороты и слова были прекрасны и мало друг от друга отличались, сходясь в красоте.

Но, кроме поэзии вещей и людей, которая щедрой мерой, как снег, всех осыпает в детстве – и многим потом вспоминается как милая неправильность первого лепета, как прелестно искажающий настоящее, непоэтичное положение вещей туман, – мне досталось довольно редкое счастье слышать поэзию языка. Таким поэтическим русским языком говорила бабушка. Прозаичного она вообще не знала. Бездну потягушек, колыбельных, прибауток и присловий на такие случаи жизни, которых, кажется, и предусмотреть нельзя, она выговаривала низким, удивленным и неустающим голосом: что кот урчит, знаешь?

*Курлы-мурлы
Вилы-грабли
Сток метали
Со стога утали
Опять подгребали
Курлы-мурлы.*

Но дело не в готовых полупесенках. Я не различала того, что она придумывала на ходу, от обкатанных столетней памятью приговорок. И не редкие ее словечки я люблю. От мертвоватого «литературного» языка (эти кавычки должны отгородить от укоризны настоящий литературный язык, который может быть живее всякого просторечия и диалекта; в кавычках же – тот примерно литературный язык, который предстоит сознанию редактора) не это отличало ее речь и всякую речь, которую я люблю. Что толку во всяких «сиверках» и «курнях», если в их соединениях нет умного напряжения и озарения, как это бывает в «красной речи» простонародья и поэта. За «литературным» языком, похожим на правила игры с отсутствующим предметом, стоит невнимание к реальности. Одно из главных правил этого языка – что молчать *не о чем*, что нет вещей, по отношению к которым нельзя что-нибудь «употре-

бить». За бабушкиной речью было приглядывание, прислушивание, нащупывание, привычка думать и покумекивать по всякому случаю – и привычка молчать, когда говорить нечего (а «литературный» язык весь и разрастается на тех местах, где говорить нечего). Это были не слова, а имена: единственные как имена, и как имена (в так называемом мифическом сознании) трудно испытываемые у вещей, но уж зато овладевающее ими – хотя бы для того, чтобы с ними играть, умыть их, очистить, как посуду в конце «Федорина горя». Вот бабушка перебирает крупу в саду на столе и грозит ветру, который все у нее сдувает: – У, безрукий! – Почему безрукий? – Летит лбом, не глядя.

Говорила она как бы поневоле – и получалась невольная оригинальность. Не та, что выстраивается вторым этажом над осознанной и сразу же спрятанной банальностью первых пришедших на ум слов, а оригинальность прямой речи, оригинальность самого дословесного мира, в котором смешно подозревать что-нибудь банальное.

* * *

Что такое поэзия, я потом забыла и вспомнила уже в конце школы. Мне прочитали стихи моей сверстницы-девятиклассницы:

*Я приду на свадьбу в черном,
Черт вам будет женихом.*

.....

..... (не помню)

*Разобью об стол бутылку:
сладко видеть, как течет.*

*Мне, быть может, та же сила
Завтра череп рассечет.*

Боюсь, с этой безымянной для меня девочкой так все и случилось. Некоторые слова даром не говорятся. Вот это я и вспомнила про поэзию. Поэзия занимается «другим», от этого я не откажусь, но ее «другое», в отличие от известного мне тогда «другого» эпигонства, обладает той же страстью реальности, что и так называемая жизнь, – и большей: Stärk is dein Leben, doch dein Lied ist stärker. Об этом легко забыть, считая поэзией стихи прошлого века, спрятавшие свой обвораживающий смысл, смысл сильного поступка, за уже полупонятной формой. И стихи из периодики 60-х годов, которые никогда такого смысла не имели. «Сладко видеть, как течет» потрясло меня больше всех признаний всех известных мне тогда поэтов (их, правда, и не много было). То, что следовало из этой строки, было еще впереди, будет со мной и при мне. Ответ на вызовы Пушкина и Баратынского уже прошел. Почему обязательно вызов, почему не «примирающий елей»? Потому что, как я надеюсь еще сообщить, «примирающий елей» поэзии, доступная ей вечерняя песня, благодарное согласие или благословение – только виды общего смысла вызова. Во-первых, люди так устроили свою человеческую жизнь, что ничего подобного поэтическому высказыванию в ней возникать не должно: таковы правила общежития, воспитания и т.п. Но не это главное. Лирического поэта недаром окружает трагический или страдальческий ореол, недаром мысль о поэте внушает образ ранней и роковой гибели. Никакой предрассудок не без оснований, особенно общепринятый. Кого еще такой ореол окружает? «великого человека», героя. Лирика – как я тоже надеюсь подробней, если не доказательней изложить – в сущности своей героиня. Герой же без страдальческого ореола инстинктивно отталкивает нас: он начинает напоминать палача или тирана.

*Оставь герою сердце: что же
Он будет без него? Тиран.*

О сердце ли (то-есть о доброте) шла речь в пленившем Пушкина эпизоде «Наполеон среди чумных»? О, больше, чем о сердце: о том же, что в эпизоде с торгующей собой Клеопатрой. «И, быть может, игра роковая». И, быть может, надежда показать небесам, что есть среди людей такой человек, который не так собой дорожит, чтобы отказаться принять вечный вызов небес: есть ли у вас такой человек? (то-есть именно так дорожит, чтобы принять). Какой же, собственно, человек? Свободный. А что будет из этой свободы? «То и будет, что нас не будет», как хотел Пушкин поставить эпитафией к «Повестям Белкина». За этим, на первый взгляд, инстинктом самоубийства есть другое значение – которого я, впрочем, никому не навязываю: *Anima humana naturaliter Christiana est*. Есть надежда бросить себя ради замысла о себе, надежда на то, что любимейшая часть твоего существа, его смысл и оправданность в чистом образе явится, когда освободится не только от «худших частей», но от всего тебя; что явиться она может только так; что ей дорого твое прощальное приветствие; что во всем этом есть любовь. Для *naturaliter* и этого довольно. Поэзия же в редчайших случаях переступает пределы этого, еще в глубине других поводов живущего *naturaliter*. Кажется, часы искусства времени от времени доходят до вергилиевой «Четвертой эклоги» – и там останавливаются. Другое его состояние, по нашим привычкам, мы называем «уже не искусством», «больше чем искусством». (Пройдя некоторый филологический искус, я знаю, что речь идет об одной известной исторической форме искусства. Но такое сознание ничего не преодолевает, это мнимое возвышение над историей. Изучив, например, историю костюма и осознав собственное платье как историческую форму, тем не менее не изменишь его на пеплос или фишмы. Конечно, сравнение слишком поверхностное – но таким же маскарадом будет взяты за какую-нибудь форму канонического искусства. Рядиться никому не запрещено, тем более стилизовать ту

же тунику, но искренне нам принадлежит только внутренняя неудовлетворенность исторического своей формой, заложника вечности – своим пленом.) Кто проложил эту межу «искусства» и «уже не искусства» и можно ли ее перенести? Несомненно, искусство, занятое окраинами жизни, последнее время стало как-то наглядно не нужно. Но вдруг не будет нужно никакого? И не иератика (о которой, как о будущем возвращении искусства в родной дом сакрального, говорит М. Шварцман), а потерявшее всякую тягу к воплощению молчаливое переживание наследует ему?...

* * *

...Напрасно я протягиваю связи между стихами и просшествиями: вряд ли можно сказать, что с чем на самом деле связано. Кроме слов, кроме ритма, кроме смысла – что же остается? что томит, сжимается и расширяется, приближается и удаляется, как облако сухой пыли, с каким-то сверхзвуковым свистом? без чего жизнь кажется пустей пустого? Иначе как «нечто новое» я не могу это назвать. Чтобы объяснить, какой смысл я связываю с этим «новым» (потому что какого только с ним не связывают), позволю себе вкратце пересказать один эпизод из «Цветиков св. Франциска». Франциск которого часто называют «поэтом веры», как других – ее рыцарями, воинами, тружениками – и не только потому, что вокруг его слов и поступков кружатся Хариты и Улыбки, сопровождающие всякое совершенное создание поэта: он показывает идеальный и недостижимый, взятый с земли на небеса образец поэтического творчества, где нет свободы без благоговения и трепета без свободы, кротость пылает, как огонь, и нет внутреннего, которое не являлось бы в упоительной форме; итак, Франциск рассказал своему «брату-овечке», о чем он разговаривал с небесным гостем. Ему сказали:

- Франциск, принеси мне жертву!
- Но у меня ничего нет, Господи!
- Поищи за пазухой (nel grembo).

И он искал и вынул золотой шар. Его просили второй и третий раз – и второй и третий раз он вынимал и отдавал золотые шары. Затем ему объяснили, что эти три золотые шара означали три его добродетели, о которых он сам не знал.

Поскольку там, за пазухой, ничего не было – там не могло оказаться ничего нечудесного: и что чудеснее золотого шара? Вот это и кажется мне единственно новым. Таким новым и должен быть поэтический смысл. Напрасно думают, что поэзия собирает, или обобщает, или возвышает тот смысл, который есть и без нее в «реальности». Она действует с другой стороны.

*И на бушующее море
Льет примиряющий елей.*

Этого смысла в мире нет, он в мире нужен. Как раз потому, что его нет, потому что нечего вынуть из-за пазухи и подарить. Мир дан, он дарован. Елей свой поэзия не берет из бушующего моря как «суть» этого моря, а дарует ему – как то, что в его сути присутствует в виде нехватки, предмета тоски и просьбы. О чем же оно тоскует и бушует? Как ни глупо и ни претенциозно это звучит – о безусловном бытии. О выдергивании жала небытия, о болезненности движения, да всего, всего, что друг друга поглощает и вытесняет. О том, чего не дано и что может быть только даровано.

Так, мне кажется, обстоит дело и с «выразителями народного духа», которые не столько обобщают и величественно повторяют этот народный дух, сколько дарят ответ на его тоску. Пушкин выражает русское – но в том смысле, что подарен ему, а не другому, что на это бушующее море льет свой елей. Так же «выражает» он и русский язык, которого до него не было.

К чему этот бесконечно устарелый «народный дух»? Да к тому, что мне хочется рассказать, что собственно подарил Пушкин «народному духу», как Петр – флот государству. Эту загадку разгадал Ф. И. Тютчев. Мне кажется, его разгадка не вполне оценена.

*Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет.*

Недооценка этого замечательного определения связана с невнимательным разбором его синтаксиса. Здесь не говорится, что Пушкин был первым любимым поэтом, предметом первой любви. Здесь говорится, что он был самой этой любовью, состоянием любви; – он был тем, *что* любит. Помните разговор Татьяны с няней о любви? Вот в некотором роде Россия до Пушкина любила, как няня. Этого – *«Что любит без искусства, Послушная влеченью чувства, Что так доверчива она, Что от небес одарена, Воображением мятежным, Умом и волею живой, И своенравной головой, И сердцем пламенным и нежным»*, – этого образа пушкинской любви еще не бывало. Во всяком случае, никто про это не говорил. Говорили, что такое страшная страсть, больше похожая на болезнь, которую насылают в любовных заговорах, от которой сохнет Фрол Скобеев; что такое умиление Петра и Февронии и духовных стихов; что такое супружеская верность и почтение; наконец, «наука страсти нежной» времен красных каблуков. Но это –

*Как Дездемона, избирает
Предмет для сердца своего, –*

поставил в пример Пушкин. Как назвать такое свободное избрание? Где-то далеко за ним стоит странная влюбленность Бедного Рыцаря. Дездемона у Пушкина только пример, десять чертами подчеркну, что речь идет не о «новом отношении к женщине»: это «новое отношение к жизни», и к искус-

ству прежде всего. Читатели Пушкина узнали предметы его вдохновенья как предметы для сердца своего, и это была новая здесь красота. Конечно, Пушкин сам не занимает всего пространства своего имени. Мало того, что на это имя мы списали и этим именем заслонили допушкинские и послепушкинские труды и находки и превратили Пушкина из поэта среди поэтов в поздно явившегося Орфея. К тому же, этим именем у нас называют нечто небесформенное, но трудно определяемое: в самых разных местах, где касается живой восторг искусства, что-то движется в уме похожее на то, что в другом месте называлось «Пушкин» – первый поэт по любви, первый поэт любви, первая любовь, как сказал о нем поэт последней любви.

Я говорю при этом не о Пушкине официальности и не о Пушкине – герое и учителе, серьезном как Лермонтов, и более того – как Булгарин. Обременять Пушкина такой серьезностью нехорошо, не лучше, чем делать прямо наоборот. Со всей иронической и неиронической стилизованностью Пушкин – может быть, самый искренний из наших поэтов (человеческая искренность есенинского рода – совсем другое дело). Ироничность Пушкина относится к области отношений «поэт – читатель»; это учтивость среди своих, где неприлично занудное доказывание и патетика, – и не то чтобы высокомерная, но оберегающая «эту дрянь» (как выражался о вдохновении Чарский) замкнутость среди чужих: прочь, непосвященные. В области же отношений с Музой Пушкин доверчив и благоговеен, как мало кто. Он, как почти никто, *служит* поэтическому внушению, и потому-то его слова не могут иметь вполне тех душеспасательных смыслов, которые многим хочется в них видеть и указать другим. Такие смыслы есть у тех, кто риторичен, хотя бы в лучшем смысле этого слова. Фокус пушкинского конкретного смысла – его необязательность (часто называемая «амбивалентностью»): но не сама по себе, а в сравнении с чем-то, с Поэзией – ангелом-утешителем. Вдохновение и есть

внутренняя тема самых разнотемных и самых «проблемных» его вещей, и поэтому не все ли равно, в чем ее найти:

Или в кибитке кочевой...

Поэтому почти весь материал можно заимствовать из иноязычных авторов: ведь это готовые инструменты, тем больше времени играть, не отвлекаясь на их изобретение. И если есть урок Пушкина, то урок этот именно во вдохновении, которое здесь является нам как жизнь и как помилование, но особенно – как жизнь.

Заимствование материала (сюжетов, тем, даже сравнений и строф) у Пушкина я неточно сравнила с игрой на готовом инструменте. Это, скорее, импровизированная разработка готовой темы. Но заметим, такая готовая тема у Пушкина не должна быть слишком широкоизвестной, опознаваемой: не то чтобы «обвинят в плагиате», но слишком понятная тема берет на себя много внимания и позволяет нерадивому читателю пропустить мимо ушей все остальное, главное. Нужна тема как можно более нейтральная, прозрачная – из вечных или из очень случайных. Потому что это – тот кусок «прозы», «материи», без которого, к сожалению, не построишь искусства. К сожалению или к радости, впрочем. И Пушкин, с его нетерпеливостью, с его «вдруг», «еще не – а уже», конечно, хочет как можно меньше задерживаться в прихожей «идей», «сюжетов», «ярких образов». Есть готовые, простые, многообещающие – и за дело. И рифмы легкие навстречу им бегут.

Есть поэты противоположного склада, самый ясный из них – Хлебников (второй мой любимый русский поэт, между прочим): их вдохновение, генерирующие «идеи», «образы» с природной естественностью, кажется чудесно богатым. Хлебниковского склада поэтов чаще всего и называют гениальными: гениальность в них ощутима как поражающая новизна, как открытие. В этом смысле Пушкин, может быть, и не гениален;

он беден на изобретение конкретных новых смыслов и невиданных картин; он не обладает прирожденной странностью взгляда, т.е. какой-то не совсем человеческой точкой зрения. Я не меньше буду любить Пушкина, если узнаю, что весь его материал заимствован (как, например, один из его прелестнейших образов:

*...Слезы
Сулыбкой мешаю, как апрель. —*

из шекспировской Клеопатры). Тот, кто догадывается, куда ведет вдохновение, понимает, что любой образ – повод, и не больше.

*Он так же отнесся к бумаге,
как купол к пустым небесам.*

Что за пустые небеса, к которым можно как-то отнестись только после того, как глазу дадут дальнюю или ближнюю точку, кулису, объем – нечто *не то*? Боюсь, любители полноты и богатства, силы и яркости в искусстве не знают, о чем идет речь. Вообще-то никто не знает, но иные догадываются. Заимствуя, Пушкин возвышает заимствованный материал от частного примера с цифрами – к формуле; он делает прозрачнее повод для самого вдохновения, которое возникает благодаря ему и вопреки ему, как живописная глубина – благодаря за-весе и переднему плану и вопреки ему. Глубокое вдохновение, как и глубокая жизнь, глубокий сон имеют дело уже с тем, где нет образов, нет идей, нет всего. Все *целое*. А та самая кулиса, купол, повод, из-за которых мы видим и узнаем такое всеотсутствие, уточняет: все *исцеленное*. Я не хочу сказать, что Хлебников и любой поэт «открывающего» склада не выходят в эту область. Они выходят вот каким образом: их читатель сам становится поэтом на каждом представленном ими поводе:

В эти дни золотистого мячика, —

и мы мгновенно строим ту же «воздушную громаду» (только что без слов), что строит Пушкин на образе, скажем, Горация – в словах. Я не затем сравниваю эти два склада, чтобы один унижить другим. У нас думают, что сравнивать можно только для этого.

Среди дурацких «идей», которые приходят в голову в пятнадцать лет, у меня была идея о том, что все прекрасные стихи посылает поэтам Пушкин, а идут эти волны от опекушинского памятника. Про Хлебникова общее место говорить: «поэт для поэтов», но есть такой же поэт для поэтов – Пушкин:

*И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.*

Может, и все остальные отчасти такие же (даже Бунин: «*Будущим поэтам, для меня безвестным, я оставляю тайну - память обо мне...*»). И важные тени, и безымянные для нас души – продолжаю я настаивать на сладостном заблуждении 15-ти лет – все хотят чего-то от живых; все ждут исполнения как будто тайной своей надежды, и, быть может, их нетерпение подгоняет нашу ленивую кровь, заставляет давать обеты и прислушиваться к тому, чего услышать невозможно.

* * *

Можно ли определить физический талант, минимум которого необходим стихотворцу? Это сделал, по-моему, в «Галлах счастья» Ганс Христиан Андерсен: такой минимальный талант поэта состоит в памяти. Особой, конечно. Памяти, которая дает возможность: не упустить разных подобий, повторений и контрастов в собственном опыте («образ поэта»); глядя на один предмет, присоединять к нему родственные («метафора», «сравнение»); не упустить тона и звука в развитии стиха

(«звуковая гармония»); не увидеть того, что видишь, голым, без одежды его многовековых осмыслений (без «культуры», «традиционности», пускай в полемическом ее повороте, стихотворная речь невозможней, чем прозаическая); не услышать голым слово, вне его смысловых, корневых, звуковых, стилистических и т.п. историй («своеобразие поэтической семантики»). Не говоря уже о памяти кое-чего другого, близкой предвиденью. И об отрицательной памяти – чего нельзя, что плоско, исчерпано и т.п. – близкой этике. Воспоминания, которыми такая память располагает, могут быть очень смутны, неточны, сомнительны. Главное: они должны быть в высшей степени реальны, независимо от своего качества, реальны, как внешний холод, например, от которого нельзя не ежиться или не кутаться. Одним словом, такая память противостоит «глухому эфиру» из приведенных стихов Елены Шварц. Поэт, как в «Галошах счастья», должен не помнить, а вспомнить:

*Между помнить и вспомнить, други,
Расстояние, как от Луги
До страны атласных баут*

(Ахматова – и слышите, как она на ходу вспомнила: и Лугу, и бауты). Чемпион поэтической памяти, несомненно, – Данте. Анекдоты о памяти Данте вошли в учебники. «Однажды к Данте на площади подошел незнакомец и спросил: «Что вкуснее всего на свете?» Данте ответил, как он думал: «Яйца». Прошел год. Незнакомец подошел к Данте, который бродил вдоль улиц шумных, и спросил: «С чем?» «С солью», – сказал Данте». Вот в такой форме держит себя великий поэт. Он бежит вперегонки с забвением, исчезновением, с невниманием и, в конечном счете, – с тлением. Это «с солью» волнует меня больше, чем рассказ Боккаччо о том, как Данте воспроизвел долгий богословский диспут на свободную тему. Если так, если «с солью», значит, времени уже нет: в некотором роде. Ли-

рическая композиция, как и музыкальная, преобразует время, потоку вытесняющих друг друга вещей предлагая альтернативу: фигуру их соприсутствия, взаимно умноженного существования каждой. В идеальном стихотворении есть нечто райское. Композиция великих стихотворений вполне смело берет время во всей его наружной гибельности, не скупердяйничая и не приберегая от исчезновения «лучшие места», и вполне реально эту гибельность протекания обнимает незабываемостью, забывенностью. Над композициями русской лирики 19-го века тяготеет угроза реальной длительности, линейности, повествовательности (но именно эта физическая, непреображенная длительность, «композиция оглоблей» стала же прелестью некрасовских построений). Над «новой» русской лирикой другая опасность: полный разрыв с временной последовательностью и целенаправленностью речи, когда целое выглядит веером вариантов (особенно у Мандельштама).

По черновикам Пушкина мы видим, как память такого рода боролась с «непосредственным чувством» и предназначенным к выражению смыслом. Они, то есть чувство и смысл, оказывались прозаичны. Лев Толстой, заменив в последней строке пушкинского «Воспоминания» эпитет:

Но строк печальных не смываю, -

на *«строк постыдных»*, показал, что не чувствует, сколько памяти в настоящем, более «слабом» пушкинском определении. Разберем толстовскую поправку. Доводы фонетического ухудшения строки: исчезло монотонное *а* последних слов (печальных не смываю), контрастное вокализму рифмующей (я трепещу́ и прокли́наю) – монотонный плач на *а* после порывов вроде разрывания на себе одежду. Исчезла странность хрустального и мягкого вместе консонатизма «печальных»: «постыдных» дублирует предыдущие аллитерации – при том, что в нем не хватает, болезненно не хватает *р*: для полного дубля

нужно было бы «преступных», на что Толстой не решился. «Преступных» и с лексико-семантической точки зрения выдержало бы силу таких слов, как «с отвращением», «трепещу». «Постыдных» после них – как «отшлепать» вместо «выпороть». Отмена «печальных» означает нарушение не только структуры пушкинского стихотворения – но и структуры всего пушкинского словаря, в котором «печальный», как и «живой» – необыкновенно многозначные слова. «Печальный», с его звучанием и смысловой жизнью, так связано с именем Пушкина (как некоторые мелодические повороты с именем Шопена или некоторые колористические пристрастия с именем Рембрандта), что, говоря о «творческой печали» или: «печаль моя жирна», поздний поэт бросает на свою строку отсвет пушкинианства. Но главное искажение: на место контрастного окружающему обобщающего определения Толстой ставит ослабленно дублирующее. Величественное стихотворение трудно кончить лучше начала. Только неожиданное и выводящее за его пределы финальное движение может снять это напряжение. Что и делает слово «печальных», окончательный приговор «строкам». Что же оно делает? Оно сообщает о новой точке зрения на собственную жизнь: летописной. Назвать то, что составляет предмет жесточайшего раскаяния, «печальным» – значит поглядеть на него из «прекрасного далека» или из «прекрасного приближения», но только не из потребности своего момента. Есть такая точка зрения, с которой и мучивший Ивана Карамазова вопрос, и сам Иван, его задающий, – не «мучительны», а «печальны». И это, если хотите, «хуже», а не «легче» в некотором роде: это предполагает вторжение чего-то вроде смерти. Из этого приблизительного описания, может быть, видно, что прозаизм заключается в эгоистическом использовании слова и словесной композиции для выражения «чувств и мыслей» (даже лучших): в предрешенности общего хода, не оставляющего места чудесному завершению; в непременно сопутствующей

этому нестройности композиции и плоском, давно знакомом смысле отдельного слова. А здесь мы узнали кое-что новое о слове «печальный» (так же, как о раскаянии, которое оказалось бы при толстовском «сильном» эпитете тоже давно знакомым).

Прозаизм и есть, по-моему, отсутствие той памяти, которой, впрочем, я называю неизвестно что (неважно, состоит ли он из «некультивированных» слов и смыслов или, наоборот, из девальвированных поэтизмов). Итак, память позволяет поэту стать больше, чем собой, стать «моментальной личностью, создавшей эти строки», как сказал Валери – или «собой, каким его наконец сделала вечность», как сказал Малларме об Э. По. Сами звуковые обязательства, которые до недавнего времени исполнял стихотворец, требуют благосклонности Мнемозины. Строго говоря, единственно удовлетворительное знание стихотворения – это знание его наизусть. Поэт должен трепетать при мысли, что пишет нечто заведомо меморабиле. И не загружать эту «идеальную», фиктивную или всеобщую память безобразными бессмыслицами и тривиальностями.

Можно ли развивать эту поэтическую память, как музыкальные и рисовальные навыки? Не знаю, каким образом. Разве что образом жизни. Во всяком случае, специальное запоминание тут не поможет. Как в сказке Андерсена, поэт ненароком вспоминает то, что ненароком запомнилось. Ему кажется, что вещи эти сами напоминают о себе. Иначе бы они не имели возможности являться в новом, измененном и изменяющем виде – как все, что запомнилось с хищным прицелом, «для чего-то». И стократ блажен тот поэт, чья непроизвольная, тревожная и любящая память включается не на моментах капризного предпочтения, только ему понятных, а действительно на центральных и богатых смыслом точках реальности, истории, языка. Такая тяготеющая к объективному субъективность лири-

ческой памяти даруется волей небес и, вероятно, удерживается усилиями ума – а может быть, и совести.

* * *

Если бы я писала о Мандельштаме, о его насквозь метафорической лирике, то назвала бы этот этюд «Положение Мандельштама», по образцу эссе Валери о его учителе Малларме. «Все казалось им наивным и пошлым после того, как они прочли его» (Валери). Так случилось и у нас с Мандельштамом где-то в 60-е. Видимо, такого значения не видели в нем современники (ср. критику Жирмунского, Тынянова и др.) А наивным и пошлым показалось многое – хотя бы Блок. Мандельштам стал знаменем филологического мировоззрения и «элитарности». Все в нем стало нравиться, вернее, стало эталоном: принципиальная словестность его стихов, стихотворность языка; композиционность: ничего «от себя», чистое кристаллообразование формы, развитие семантических мотивов наподобие кончетти. Невозможность моралей и прямых смыслов. Огромная косвенность по отношению к непосредственному поводу высказывания и косвенность лирической личности. «Клавиатура упоминаний», особенно интересная для исследователей, поскольку цитация, конечно, тоже косвенная. Почти пушкинская красота, усмиренность возвышенных абстракций. Несомненная умность, которая всем этим руководит, – умность не только суждения, бегущего общих мест, как огня, но самого глаза, слуха. Даже безумная метафора – звукового ли, многоступенчатого происхождения (метафора метафоры). А сколько вещей он сделал поэтическими, подарил поэзии – камни, щеглы, воск – все сухое, острое – пространство, связь, кузнечика – ботаников и Бонаротти. Все это неловко усвоено, но не усвоено то, чем Мандельштам и жив, – трепет, голословие, которое мало кто слышит за его метафорой в третьей степени. Мораль

невозможна у Манделштама не только из-за законов «целкупности» его формы (мораль всякую форму разрывает и просится в присловие: *«Ты вечности заложник у времени в плену»* – и весь летчик предшествующих строф исчез из памяти). В этой пятой стихии, которой преимущественно и занято вдохновение Манделштама, в стихии свободной культуры нет места никакой идеологии. Все идеологическое и этическое кажется здесь грубо прозаичным и, вероятно, недостаточно стихийным и свободным. Как в этом «опыте из лепета» переменчивых неевклидовых смыслов найдут себе место тяжелые, твердо очерченные массивы Толстого, Достоевского и других «учителей»? Они пойдут на дно этого искусства, оставив по себе «мокрый след блюдечка на садовом столе», как Достоевский у Набокова, и «клавиатуру упоминаний» с бегом сравнений, как Данте в «Разговоре о Данте». Их проповедническая страсть немислима в этом рефлексированном сознании как варваризм, как плохой стиль. Недаром «поэт-теолог» оказывается в «Разговоре» о нем похожим на кого-то другого: он, скорее, *«мужественно врет, с Орландом куролеса, И загорается, преображаясь весь»*, чем исполняет (согласно письму Кангранде) *«цель не созерцательную, а практическую, выведение человечества из настоящего его состояния несчастья»*. А к такой цели обыкновенно идут, не прыгая с джонки на джонку, а с целеустремленностью паломника. Не случайно в переводе петрарковского сонета убрана ясная ссылка на ап. Павла – и двойственный вкус воды из одного источника оказался метафорой одного из любимых Манделштамом неуверенно смутных состояний, а не самооценкой относительно своего спасения (как это было у Петрарки). Недаром «горящая пряжа», о красоте которой нечего спорить, меняет петрарковскую образность, простую и традиционную (колесница ночи) по образцу Малларме. Вдохновение, выход *«из пространства в запутанный след величин»* – высшая ценность в искусстве

Мандельштама (здесь он по-своему, как никто, продолжает Пушкина). Все идейное, моральное, готовое относится как раз к этому пространству, из которого нужно выйти. Такой выход он и любит в любимых своих старых итальянцах, махнув рукой на то, что выходят они не в *запутанный сад*, а в расчерченные сферы, сверяя свой путь по картам, которые составили Аристотель, Августин, Аквинат и другие путешественники по тамошним местам.

Но отталкиваясь от Мандельштама, я еще больше против его противников (как говорил покойный Д. Е. Максимов: «Его личным, собственно, было всегда – «Александр Герцович», которое он в себе перебарывал и вместо которого выстроил эстетическую личность»). Валери заметил, что в эстетической требовательности Малларме было нечто этическое. Нечто этическое есть и в «эстетической личности» Мандельштама: это трезвость и совестливость против кабацкой «искренности», которая и есть для многих поэтичность, против безответственных лирических эмфаз и фельетонных мыслей, разукрашенных сравнениями. Такая «эстетическая личность» есть достижение, и не только Мандельштама, но всей поэзии: это тонкий резонатор всего окружающего вместо «самовыражения». От личной бедности это получается или от преодоления персонажности в себе и более, чем персонажности – чего-то говорящего, перебивающего, не слушающего – как знать. Мандельштам с преувеличенной, может быть, настойчивостью напоминал о целомудренности художественного смысла, о подчинении автора законам целокупности художественной вещи. Он напоминал о *стиле* в широком смысле.

Если сколько-нибудь справедливо знаменитое выражение: «Стиль – это человек», то противоположное ему справедливо, по меньшей мере, столько же, а может, и больше: «Стиль – это не человек» и «Человек – это не стиль» («слишком широк, я бы сузил», как говорит Карамазов). В несовпадении стиля с че-

ловеком (причем не только «большого стиля» с «человеком своего времени» – но и индивидуального стиля с личностью автора во всей ее «слишком широте», стилистической полиморфности или аморфности) и заключается роковое достоинство и роковой недостаток стиля. Он предстоит личности; он беднее ее, прямее – но тверже и несомненное. Он заставляет Данте в латинских эклогах называть сочинение песен «Рая» доением коз. Он всех что-то заставляет. Откуда берется его главенство над нашим искренним порывом? Кто его знает. Так что же он заставляет нас с нами делать? Две вещи, в общем: 1) отказаться от многих своих возможностей, интуитивно ощущаемых как неуместные в предстоящей композиции (это возможности мыслей, чувств, тем, языковых богатств, воображения и много чего еще); 2) найти в себе (не думаю, что создать) те возможности, которых у нас, при всей «слишком широкости», недостает в ясном поле самочувствия. Первая вещь ощутима сильнее и болезненнее; быть может, она и есть один из двигателей смены стиля. Против нее восстает воля к простоте и прозрачности выражения, часто воспринимаемая со стороны как осложнение и уточнение. Вторая же вещь во многом совпадает с расплывчатым представлением «вдохновения», озарения, внушения. С открытием в себе чего-то превосходящего тебя. Ведь совершенная – скромнее – безупречная вещь невозможна, но возможно вот что: исполнение задания, которого ты, исходя из всего прошлого и наличного, исполнить не способен. Такое возможно и многократно засвидетельствовано. Напоминаю историю с золотыми шарами Франциска Ассизского. Конечно, я имею в виду «идеальный» случай отношений Человека и Стиля, который до неузнаваемости искривлен во множестве «реальных» случаев. Итак, возвращаемся к правоте Бюффона: «Стиль – это человек», но в противоположном пространенному толкованию. Стиль – это не «человек» как «самобытность», а человек как нечто ограничивающее и от-

крывающее себя, выходящее за пределы своей самобытной данности путем ее сужения и приспособления к чему-то, без сомнения понятному как внешний императив и внутреннее желание, вместе и сразу. Образованию стиля способствует внутренний адресат речи, «идеальный читатель». Из его воображаемого желания и вкуса растет кристалл стиля. Недаром Мандельштам так дорого ценил «читателя, учителя, врача».

«Пятая стихия» Мандельштама досталась теперь филологам школы Тарановского, и вряд ли можно сказать что-нибудь новое на этом языке. Что же касается «своего», «личного» у Мандельштама, то здесь главным мне кажется не «Чего там – все равно», а своего рода заигрывание с отвратным, чудовищным, опасным («На реке Москве почтовым пахнет клеем»), попытка им любоваться, заговорить его. Еще до реального повода (как обыкновенно бывает со «своим»), задолго до «пузырьков воздуха, культуры и воды» сталинской Москвы это движение является в египетской тьме ранних стихов.

Впрочем, ни на чьем другом языке тоже говорить нечего. Я знаю пагубные последствия других пристрастий: к Цветаевой, к Пастернаку, к обериутам (которым подражало пол-Москвы и пол-Ленинграда – и странно видеть, как надоедливо предсказуемы оказались абсурдная свобода ассоциаций, стилистический макаронизм и перебивы метров), к «сложным» иноязычным поэтам вроде Дилана Томаса, к ныне здравствующему Иосифу Бродскому. Даже как будто нейтральная поздняя Ахматова никому не идет на пользу. Одним словом, благословенное плодами ученичество, как дантовское ученичество Стация у Вергилия:

Per te poeta fui, per te cristiano, —

чудо, и это прекрасно известно без меня. Я бы с удовольствием рассказала о таком чуде, а не о нечудесных явлениях эпигонства, но, к сожалению, не знаю свежих примеров. Говорят, новые католические поэты с успехом берут пример с Дан-

те. Но это почти то же, брать пример с самой поэзии. А не брать примера с самой поэзии еще хуже, чем за саму поэзию принять Цветаеву или другого симулируемого лирика (Пушкин уже не более симулируем, чем Тредьяковский: граница эпигонских «образцов» проходит где-то на околблоковском времени). Второе грозит личной неудачей, первое же – бедствием общественным: созданием традиции поэзии вне поэзии, как это вышло у нас. По сравнению с трусом, мором и голодом это, может быть, не великое бедствие – но поверьте Пушкину:

*Бедя стране, где раб и льстец,
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.*

(1828 г.)

Воздух такой страны, где не веет озон вдохновения, отравлен, воды ее замутнены без очищающей струи Иппокрены, мужи «милых жен лобзанья недостойны».

Не слишком ли прямо я поэзию вне поэзии свожу к «рабу и льстецу»? По-моему, нет. Нетрадиционный поэт – как говорит Элиот – «сознателен там, где следует быть бессознательным, и бессознателен там, где следует быть сознательным». С этим-то смещением и связано «рабство и лесь». Вдохновенный – то есть традиционный – поэт, если и захочет, не выйдет у него роль раба и льстеца: и сознательность, и бессознательность его, хорошо поставленные, как голос у вокалиста, с равным отвержением отвернулся от заведомо фальшивого тона.

Кроме Данте «геометра», есть для меня еще поэт, почти совпадающий с «самой поэзией», – это Р. М. Рильке, «физик». Дантовский мир ландшафтно невообразим. Если можно представить молнию как окрестность, то это будет похоже на Данте. Нужно обладать несколькими зрачками в глазу или уподобиться Аргусу и быстро включать и переключать разнофокус-

ные зрительные устройства, чтобы хоть как-то оглядеть этот мир и даже часть его, где бровь орла окажется при ближайшем рассмотрении императором Константином. Данте путем разнообразных промываний, при помощи Проводницы и своих собеседников совершил чудо с человеческим зрительным аппаратом. Глаза у него болели, и все видимое порой подкрашивалось красным: его глаз видел собственную кровь. И недаром его покровительница, небесная окулистка Лючия, ведала также надеждой: эти виртусы, зрение и упование, действительно родные.

Мир Рильке легко представляется в виде горного пейзажа с маленьким селением или одиноким замком, как его Мюзо. В любой стране, где есть горы, и в любое время он тот же: его сущность не в архитектуре построек, а в масштабе человеческого и внечеловеческого – только в горах этот масштаб так наглядно суров. Да еще в поселке на берегу океана. И этот масштаб постоянен – в отличие от мигающего масштаба Данте (который имеет, между прочим, и мерзкую для нас после наших и немецких парадов привычку выкладывать из людей буквы и фигуры). Естественно, это внутренний ландшафт и внутренний масштаб. И небо не отличается там от гор и кладки стен, и вода от камня, и верх от низа, и Бог не отделен от тоски по Нему, которая и составляет материю этих пород, хребтов, деревьев, порталов и человеческих жестов... Пантеизм это, говорят.

Есть не помню кому принадлежащая притча об искусстве времен его упоения своим объективизмом. У постели умирающей – муж, доктор и художник. Кто видит происходящее полнее? художник, ни в чем не заинтересованный, за ним – врач, а за ним уже любящий муж, который вообще-то ничего не видит. Так вот, мне кажется, все точно наоборот. Видит полно тот, с кем это событие происходит, чей ум оно меняет. На вопрос Иова ответить некому из людей. Вот поставить поэта в

точку претерпевающего событие и хотел Рильке. Иногда кажется, что его речи от лица самоубийцы, статуи, помешанного – вымышлены, что это риторическое упражнение вроде «Героид». Уж очень скульптурно они выражаются. Но чаще всего это не так и потрясает своим неслыханным признанием. Почему автора хочется видеть чем-то «настоящим» – и спрашивать: да были ли вы действительно на месте помешанного? Может быть, ради слова, ради его выслушиваемости (как атеисты из народа: вот я скажу, что Бога нет – ударит ли меня гром?). Или, наоборот, ради самой реальности, ради того, что она – не обуза, не бессмыслица, не шлак внутреннего, где все эти громы действительно ударяют. Впрочем, само событие творчества достаточно богато, чтобы его материала хватило на «реальные» события Федры, Гамлета...

И эта одна из главных задач «нового искусства» Рильке – дать речь молчавшему. Эта задача нова, как все прописные истины – то есть как сам бессловесный мир, от которого они не отличаются, поскольку в такой же мере мало кому вразумительны. Как по поводу Скрябина говорит Пастернак о празднике прописных истин, которые носятся столетиями в воздухе, неприкаянные и бесполезные, пока кто-нибудь не поймет их, наконец, и не применит. И тогда-то видно будет, какие обильные, неожиданные и будто бы нездешние плоды призвано приносить «общее место». И Данте показал, чего стоит произнести в конце «общее место» о «Любви, которая движет солнцем и другими светилами». И Рильке показал, каким своего рода духовным труженичеством и аскезой дается исполнение общего места о том, что говорить следует только еще не сказанное. И требовавший от себя и от любого художника отказа от «ближайших чувств», и любви среди них, заключил свое «Завещание»: «Моя жизнь есть особый род любви, и она завершена. Как любовь св. Георгия есть смерть змея, деяние». Я не думаю, что это незаконное самозванство или двоеверие.

* * *

Конечно, искусство – не исповедь, и хорошее искусство меньше, чем плохое. Конечно, поэзия давно разучилась перелгать доктрину – и к чему доктрине быть изложенной на стихотворном языке нового времени (кто в трезвом уме сравнит пушкинское переложение молитвы Ефрема Сирина с самой молитвой – или многочисленные рифмованные переложения Псалмов – с Псалмами?). Наша поэзия, увы, прежде всего должна говорить новое – и молчать, если в исповеди или проповеди ее автора такого нового нет. Конечно, духовные труженики давно стихов не пишут, а когда писали, это были другие стихи, и вокруг Геликона вьются бесы, из которых тщеславие – не самый злой, потому что самый очевидный. Та же «новизна» приобретает демоническую силу в бодлеровском «Плавании». И тень фаустовской сделки почему-то витает над каждым виртуозом.

И – ко всему этому – с другой стороны, поэзия не нуждается в защите перед людьми, по собственной охоте ограниченными, которые быстро научились ненавидеть мир и все, что от мира, но не научились ничего различать и ненавидеть собственную, вполне мирскую ненависть к мирскому.

Тем не менее, несмотря на все эти «конечно», мне хочется верить, что поэзия – дар, благословенный землей и небом дар, свидетельница – пусть не «Духа животворящего»: (Он посылает своих свидетелей в другие виноградники), но «души живой». А кто знает, что такое живое, не скажет, что это ничтожно малый или напрасный дар. Причем я имею в виду поэзию, какой мы ее застали, – поэзию светскую и индивидуальную, как скажет историк литературы, более того – поздний

цвет этой традиции: поэзию часто предпочитающую смыслу «токмо звон» и всем своим темам – внетематическую напряженность момента, в котором нечто воплощается и понимание разворачивается вместе со своими словами. Я не только люблю эту поэзию, но не люблю тех, кто ее не любит. Тех, кто ловит ее на слове, говорит о ее долгах, хочет от нее всего, кроме нее самой. Они похожи на тех, кто жаловался на однообразие вкуса манны и скучал по египетским кушаньям. Наслаждение или насыщение, которое дает лирика, очень однообразно, в сущности – по сравнению с разнообразием, силой и богатством внепоэтических чувств. Это, главным образом, ощущение преобразенности – и тех же чувств, и смыслов, и слов, и формы, и человеческой личности: того, кто эту лирическую композицию составил, и того, кто ее слышит. Самое скорбное лирическое чувство разворачивается под музыку победы. Памятник лирике я бы поставила в виде самофракийской Ники или арии «Виктория, Виктория».

Что значит необыкновенное чувство, которым венчается, например, удавшийся монолог о сомнении во всем, о тщете жизни и о прочих убийственных вещах? Чему рад автор такого монолога? Не выдает ли он своей искреннейшей радостью неискренность того содержания, которое он так старался оснастить, сделать завоевательным и непобедимым? Я думаю, что он выдает нечто другое: есть вещи важнее любого содержания, есть смысл, не смысл чего-то, а смысл вообще, то есть свобода и победа. Настоящая же победа – конечно, не та, что равна приложенным усилиям. Настоящая победа чудесна: она побеждает не то, с чем боролись. Это победа над неким тотальным врагом. Над бедственным состоянием человека, не способного по природе выразить и сделать достойным выслушивания все самое глубоко-свое, над неисцелимой тоской частного по целому, над непреодолимой, кажется, бездомностью мира, который «Увы, увы, Постум, уносится», и мало ли еще над чем. Са-

мое чудесное в чудесном помощнике такой победы то, что нет, оказывается такого места, где бы его не было – и если он обнаруживается в чем-то одном, а не в другом, то это дело чистой случайности: выбор происходил из равно прекрасных возможностей. Мало того: «личность» автора (автора удавшейся вещи), та личность, которую Валери назвал «моментальной», а П. Флоренский – «брачующейся с истиной», тоже представляет собой нечто выбранное из множества равно прекрасных, равно отзывчивых возможных «Я». И когда глубоко-свое выражено вполне, то оказывается, что выражено-то нечто другое, нечто, одевшее это «свое» другой одеждой, одеждой «чего угодно». То ли поэту незаметно подменили его предмет, то ли он действительно преуспел в выражении «своего» (а выражение здесь одновременно – постижение), и в глубине «своего», как обнаруживается, живет не-свое, другое, новое. Все элементы стихотворения, к которым не примеривается медиум лирики, стихия победы, другого и нового, кажутся мне прозаизмами. Неважно, низкого они стилия или высокого. Так что совершенно поэтических стихов и стихотворений на свете очень немного. А целиком прозаичных и антипоэтических – бездна.

Итак, очень немногие соединения слов представляют собой поэзию: бывает, стих, бывает, два-три слова. Есть гурманы, которые любят лакомиться такими стихами, отыскивать и показывать в них все новые совершенства и тонкости. Мне инстинктивно хочется опустить глаза перед такими стихами, мгновенно забыть их, сколько бы раз они ни являлись, а не рассматривать, убеждая себя и других в неисчерпаемых возможностях этой красоты. Она не то что небезопасна, она действительно спасительна, а страшнее спасения нет вещи. Если кто считает это преувеличением – пусть вполне серьезно подумает, что имеет в виду спасение. Мечтать на этот счет не приходится, все уже сказано.

Но большая часть того, что история или теория литературы называет поэзией, в действительности не обладает этой угрожающе спасительной силой и относится к области скуки. Вероятность скучного в столь многими ограничениями связанной деятельности, как словесная композиция, очень высока. Чаще всего стихотворец говорит или то, чего не хотел сказать, но по вялости ума, переимчивости и надежде на «авось» и «заодно», выговорил, – или он говорит именно то, что хотел (а хочется ему сказать обыкновенно нечто весьма плоское и эгоистичное), и тогда непонятно, зачем, в сущности, для этого случайного самолюбивого высказывания веками строили громоздкий, но быстрый и устойчивый корабль формы. И первое, и второе скучно и никуда не ведет. То же, что не скучно и куда-то ведет, «объективно» не выделяется из общего потока «поэзии» – и если выделяется, то как наиболее удачные образцы *того же*. А это не только не *то же*, но и существующее вопреки ему. И, приблизившись к вечно другому, к празднику среди поэтических будней, придется отложить все инструменты анализа, все эвфонии и метрики, традиции и реминисценции, лексики и стилистики – все количественные измерения. Если бы существовала такая теория поэзии, которая хоть каким-то образом была бы однородна своему предмету, она бы указала, что путь к общему идет не через типичное, а через единственное; что обнаружить какой-то закон поэзии можно не на обобщении сходного, а на углублении в – нет, не в то, что ни на что не похоже, такого не бывает, – в то, что при рождении своем не имеет отношения как к сходствам и повторам, так и к несходствам и отталкиваниям от повторов. Но, возникни такая теория, ей пришлось бы разделить судьбу своего предмета, то есть стать сомнительной и ничем не удостоверяемой. А теория и наука такими быть не могут. Изучение тропов и метров и другие трудоемкие изыскания в этом роде имеют дело с тем, чего сама поэзия стыдится, от чего отводит

глаза, чего, как правило, не касаются теоретизирующие поэты. Поэты пытаются объяснить что-то другое, и напрасно: никто их не слушает, никто не слышит даже странной близости между их «теориями изнутри». Сомнительный предмет поэзии в дискурсивном изложении становится уже окончательно недо-стоверным, блажью и заумью.

Злая шутка заключается в том, что «объективный», «обобщающий», типизирующий подход к естественным явлениям сопровождается «милостями, отнятыми у природы» электростанциями, новыми породами скота и т.д. А из теории тропов никакой такой милости не следует: никто из этих тропов не построил и не построит эффективного агрегата – разве что агрегат пародии. Не подумайте, что я на месте закона тех же тропов хочу поставить счастливую или несчастливую случайность: картина «пестрого фараона» меньше всего меня привлекает. Ничего нет приятней законов и закономерностей. Например, меня не перестает радовать, что выроненная чашка полетит в любом случае на пол, а не будет порхать по комнате или писать в воздухе вензеля. Даже если чашка разобьется, ее падение не перестает меня радовать. Чем? Да тем, что мы еще дома. Чтобы оценить такое преимущество – быть дома, – нужно иметь нечто для сравнения, конечно. А если не иметь, то совершенно предсказуемые падения чашки могут только наводить скуку, и на многих наводят. Тогда эти скучающие люди берут реванш в искусстве – и заставляют там чашки летать по спирали и щебетать. Смысла в таких реваншах немного. Впрочем, если взглядеться внимательно в обязательное падение чашки, в нем обнаружится и полет по спирали, и щебетание, и что угодно: хотя бы потому что и это – вещи столь же домашние и роковые. Как же отличить высказывание, где чашка щебечет, выражая прихоть скучающего сочинителя, от такого, где она щебечет в силу своей природы, в силу обнаруженного закона? Позитивная теория тропов этого не скажет. Это судь-

ективное различие. Это последняя тонкость, а нам бы пока набросать самый грубый контур. Позитивная теория поэзии в содержание поэзии не верит, иначе она бы прислушалась к самому поверхностному слою этого содержания: к извещению о том, что постепенности в значении не существует, что если речь заходит о таких вещах, как «приблизительное» и «уточненное», эти слагаемые никогда уже не сложатся в смысл.

Ворчать на академическую науку, как все поэты (*«Не знали бы мы, может статься, в почете ли Пушкин иль нет, без докторских их диссертаций...»*), старо и неплодотворно. Лучше вернусь к неакадемическим похвалам. И к моим любимым расхожим мнениям. Что в стертом употреблении называется «поэтичным»? И в не совсем стертом: почему «поэтическими» называются некоторые художники (например, Рембрант) и композиторы (например, Бетховен) – тогда как вряд ли кто назовет «поэтичным» Баха или Сезанна? Есть семантические оттенки в одинаково, кажется, полуосмысленных употреблениях слов «живописно», «музыкально», «поэтично», когда ими называют нечто вроде: «красиво». «Музыкальным», как я заметила, мы называем некое внутреннее предпочтение соотносительности элементов целого их по-отдельной связи с чем-то вне. В совсем вульгарном понимании – это что-то красиво непонятное и его метаморфозы. «Живописное» – это почти не переведенное содержание, непосредственно присутствующее, а вульгарно – все, что не просто предстает взгляду, а бьет в глаза. Называя же, например, пейзаж «поэтичным», мы подозреваем в нем потенциальную сюжетность, событийность, глубоко проникающую в вещи. А где происшествие – там герой. Вот кто-то явится и что-то сделает; вот с кем-то что-то случится. Я обещала рассказать о героичности лирики. Вульгарно поэтичным называют мелодраматическое, и недаром. Вполне вероятно, я ошибаюсь, но мне кажется, что смысл стихотворной красоты, в отличие от красоты музыкальной или пластической,

имеет в виду нечто необыкновенным образом связанное с проблемой личности. (Недаром Гоголь, чуткий к такой красоте, сделал вывод из пушкинской лирики: «это русский человек, каким он будет через сто лет». Наивен здесь срок и патристический эпитет, но главный смысл: «Человек, каким он будет» – относится к каждому великому поэту. Не через сто, не через тысячу лет – каким человек из всякого времени переносит себя в будущее.) И, видимо, с этой проблемой связана почти безотчетная деятельность различения, разграничения, иерархического размещения всего, в чем до этого видят нечленораздельный хаос, – и ослепительное уничтожение всякой иерархии перед лицом чуда.

В минуты искренности, дозволенные ему автором, лиричным становится герой пьесы и прозы – но лириком он, конечно, не становится, поскольку не может выйти за пределы своего «характера», даже если характер этот так тревожно-свободен, как у Гамлета. Личность же, которую я имею в виду, говоря о лирике, связана с характером отрицательной связью: отвагой не иметь характера. Забыть про всю сумму свойств, которые позволяют тебе делать то-то и не дают делать того-то и того-то. На месте характера здесь стоят красота и предельные возможности любого характера ее видеть.

«Человек выше того, чтобы слушать жгущие меня слова мои, но Чистейшая Человечность – Церковь – не погнушается и самым жалким моим лепетом» (П. Флоренский). Но не только чистая человечность, а всякий человек, слишком высокий для жгущих слов, не высок для того, чтобы выслушать самый жалкий артистический лепет: он такого не слышал. «В жизни» непристойно оценивать эти «жгущие меня слова» с точки зрения их новизны и воплощенности. Но артистическая искренность, в отличие от простой, исторична: она учла все, что до нее уже слышали.

Великий лирик – чудо человеческой доверительности. Он искренен – и не скучен, не неприличен, не лжив и не фальшив, как всякий искренний человек, всякий человек в ситуации искренности. В лице его искренности мы можем глядеть на то, что нам в другом случае запрещено, или отвратительно, или смешно – и глядеть любуясь. При этом он, как Блок или Бодлер, может не чувствовать «святых и добрых чувств» и никак не может быть примером в любом своем конкретном лирическом поступке. Что же сделал он с этими «чувствами», с этими «мыслями»? Навязал нам сочувствие («ах, бедный!») или согласие («вот и я так»)? Да нет – «будто так *должно быть*, и это хорошо, что так должно быть» – такая расшифровка лирического сопереживания более правдоподобна. В мире лирики, как в мире сновидения, нет лишнего и безразличного, все пронизано энергией смысла. Этим слова лирика отличаются от «жгущих слов». И еще: лирик смертен, его уже как бы нет, если он даже жив, нам страшно за него. Откуда мы взяли предрассудок ранней смерти поэта – и не просто ранней, а значительной? Почему кажется, что в полноте и последней досказанности весь его хор прозвучит над утонувшим, убитым, умершим чахоткой юношей? Оттуда, что *здесь* это неуместимо. Смерть присутствует в самой интонации стихотворного языка: *здесь* так говорят только напоследок. Смысл этой красоты смертоносен, поскольку здесь ему нет места – и он относится к бессмертию, потому что явлением своим делает смертное «здесь» чужбиной. И решение на такой смысл преобразует искренность. Она становится как бы двухголосой – потому что не всякая непосредственность уместна, когда *«Казалось, будто в длаи мощной Над этой бездной я повис»*. Это искренность одновременно истца и судьи, больного и врача: наконец, жестокого романса и Буало. Второе, «критическое» лицо такой исповеди – очень ясное, хотя трудно называемое, ли-

цо требовательного смысла. Первое, «патетическое» – лицо человека, взыскующего смысл.

Но самое странное, пожалуй, не двухголосие этой искренности, потому что даже с присутствием такого двухголосия, и даже с необходимой гомогенностью этих голосов стихотворная вещь может не удасться – а в третьем элементе: в не сознании себя (и «жалующийся» и «утешающий» голоса себя сознают), который и создает лирика. Ведь как он неприятен, когда не самозабвенен (например, в лирических дневниках).

Итак, искренность лирика состоит в его искреннейшем желании перестать быть собой, а не в прямодушном исполнении старых для себя «непосредственных чувств». Вспомним опять «Галоши счастья». Как трудно было выпутаться каждому герою сказки из своего исполненного желания! – и как не успел моргнуть глазом тот чиновник, что пожелал стать поэтом, – а уже перестал им быть. Очнувшись поэтом и начав вспоминать (о чем мы уже рассуждали), он сразу же пожелал сделаться птицей – и сделался, при своих галошах.

Никто так не мучится своенравием вдохновения, как лирический поэт. У художника, у прозаика всегда найдется, что делать. Только лирическое содержание так неудержимо и неприисвояемо. Вдруг исчезает все: «все мысли», и «чувства», все навыки и материал поэта, описываемые объективной теорией. Ведь материал этот фиктивен, он больше чем наполовину соткан из той же материи, что платье голого короля. «Бессмертные произведения» вообще по большей части состоят из многолетней доверчивости к ним, чем из своей материи, в общем-то, полумнимой.

*Я обращаюсь с требованием веры
И просьбой о любви —*

эти слова юной Цветаевой говорит каждое бессмертное стихотворение внутри своих слов, каждое великое полотно внутри своих фигур и конфигураций. – Поверьте тому, что есть то, что безусловно, недоказуемо и недоказательно есть; ибо только оно и есть. *Остальное бедно и обидно.* Оно же есть предмет, возникший вместе с его пониманием; изменение нашего сознания, происходящее вместе с явлением предмета.

От художника, обладающего «своим пространством», мы всегда бессознательно ждем главной вещи. В ней весь его воздох, все распыленное сожмется в точку – с такой же оправданностью можно сказать наоборот: напряженная точка, располагающаяся за или под всеми неглавными вещами, наконец, направится в целое облако одной главной вещи. Как например, сжимается и расширяется рембрандтовский мир в «Возвращении блудного сына». Здесь – цветок личности художника, оправдывающий существование особого «рембрандтовского пространства» тем, что оно уже «больше, чем рембрандтовское». В корне личности (и соотносящегося с ней стиля) – некоторая обреченность на себя. На себя, и ничего больше. Сколько людей, столько мнений. Частичность и субъективность каждого такого мнения о мире обидны изнутри и виноваты. И вот в пределе-то этой обидной и виноватой ограниченности, без которой и формы быть не может, оказывается: форма вполне свободна, единичный смысл стал единственным (а это больше, чем общим), никакого, кроме этого единственного мнения, *об этом* быть не может. И, стало быть, частичность уже не убога в сравнении с нечленимым на части целым: целое это многопредметно и в каждом своем предмете присутствует целиком. Для частности и случайности говорящего, для частичности и случайности его языка находится предмет, единственно для него в этой его частичности открывающийся – и одновременно вполне целый. (Это запутанный пересказ простого обещания о *многих обителях.*)

От художника мы ждем такой находки своего дома в шедевре, а от лирика требуем, и ничего другого от него слышать не хотим. Он и сам, вероятно, не хочет – и потому так ревниво ждет своего гения.

Где поэзия больше всего удивляет? Там, где она относится к самому мелкому, к самому затертому предметам первой важности – например, к разливанью чая (строфы «Евгения Онегина»). Неужели и тут это есть? говорит восторг. И множество традиционно почтенных в лирике вещей как раз по происхождению своему такие, ex humili potens: бабочка, ручей, кузнецик, скучная дорога, старая рухлядь, сухой цветок... С точки зрения человека, полагающего невнимание к таким вещам естественным, поэзия снисходительна, ласкова: она обласкивает необласканные смыслом предметы. С еще более грубой точки зрения, она ребячлива. Но снисходительности здесь нет ни капли; поэт, в то время когда он поэт, хорошо знает, что нет на свете вещей, к которым можно снисходить; что незачем богатым одаривать и нечем; что у него нет, собственно, запаса лишних смыслов, которые он может раздавать направо и налево; что у него ничего нет – и все есть у них. Судьба мотыльков и других поэтических багательей ничем не отличается от богатых символикой вещей вроде зеркала, розы – а тут недалеко и до «идей». Все они в равной мере – позывные не о себе. Но если бы не волшебная дудка, играющая поэту над их кладами, он никогда бы об этом не узнал – вернее, они в его прозаическом уме никогда бы этого не узнали, своего богатства. Состояние поэзии – не снисходительность и не богатое воображение, а отзывчивость. Восприятие знаков, которых никто, вообще говоря, не подает – как не подает их зарытый в земле клад: он сам и есть этот призывный знак, невидимые и неслышимые волны которого повторяются в звуковых переборах волшебной дудки. В ином звучании, в ином руне.

И это новое руно – образ. Что такое образ, я не могу сказать, но могу привести пример образа:

*Как свечи, оплывает темнота
и копится у лиц неопалимых.
под пеленами белыми хранимых.
и складки этих рук неразрешимых
лежат, как складки горного хребта.*

Вне искусства можно многие вещи сделать лучше, чем внутри него: разве не мешает рифма «сказать всю правду», а регулярный и любой метр – «тронуть сердце»? Но есть вещь, которую вне искусства сделать невозможно: эта вещь – образ. «Идеальный», предельный художественный образ приближается к той вещи, о которой пишет богослов: «Осмысленность вещей и вещественность смыслов можно доказать только исходя из такой вещи, смысл которой целиком воплощен или плоть одухотворена»... И для образа, в отличие от трогательности или самовыражения, язык усиленных правил не стеснителен, напротив – просторен: здесь он на родине, здесь он может не стыдиться своей несоразмерности миру, внутренней патетичности... Как ни слабы в сравнении с оригиналом приведенные только что строки моего перевода из Рильке – образ в них сохраняется. Он не так уж привязан к материи стиха, как думают. Он остается и в подстрочнике. Теперь я хочу сказать, что и сама материя стиха, как я ее ни люблю, не так уж к себе привязана. У этой материи два начала: словесность и композиционность. Они находятся в довольно странных отношениях. Не знаю, как с другими видами композиции: звуков и цветов, но в композиции слов отношения составляющей и целого обратны. Слово – не кирпич для построения этих умственных сооружений. Напротив. Вся устроенность, со-образованность, все контрасты и повторы стихотворного целого служат слову.

И не только сверх-слову, безымянному на том языке, которым написано стихотворение, и возникающему из суммы всех составленных и сообразованных слов как смутный, но реальный облик с почти угадываемой звуковой формой (такие сверхслова со школьной старательностью выискивают любители анаграмм): такое ино-слово – просто смысл. Композиция служит каждому из составляющих ее слов. Ведь в каждом из этих слов, если прислушаться, присутствует то самое сверхслово, которое может собрать вокруг себя множество других композиций. Хотя бы слово «пустой». Представьте, в какое сочинение может развернуться это слово в том его пределе, где оно уже не оно, где оно, как каждое слово, становится окном, открывающим вид – на что? На явление чего-то другого. Если мне нравится тот вид на это другое, который открывается, например, в конце русского слова «ясный», мне кажутся прекрасными все слова других языков, с похожим видом, и звучение их радует: *chiago, durchsichtig...* Вот такому состоянию слова, когда в «ясном» слышится и угадывается много живых и мертвых слов любого, но одинаково милого слуху звукового обличия, и должна служить хорошая композиция.

Но не легче ли тогда вообще не слагать никаких стихов, а сосредоточенно повторять и повторять какое-нибудь из таких слов, пока не дослушаешься до его глубины? Конечно, легче. Но это будет, во-первых, частным делом каждого. А прелесть поэзии и в том, что она – из немногих несчастных дел, оставшихся на земле. А во-вторых, это не будет так чудесно. Не напряжение смысловых возможностей слова, напротив – их освобождение в словесной композиции свидетельствует, кроме прочего, о бескорыстии автора – и о такой великой силе, которая смогла поэта, существо самолюбивейшее, сделать бескорыстным на время составления этой композиции. Мой друг и учитель Владимир Иванович Хвостин дал мне понять, что и в музыке дело обстоит сходным образом: он уверял, что доста-

точно услышать самому и дать услышать слушателю *каждый* звук исполняемого сочинения – и все проблемы интерпретации, «решения» отпадут. На последнем звуке каждой вещи он делал большую, немислимую фермату – и звук этот жил и превосходил все звуки, уже ушедшие, и их возвращал назад и обещал их вечное возвращение...

Все, что я тут написала, я думаю о поэзии «идеальной», предельной, чудесной, какой на свете мало. Но не о «чистой» поэзии, очищенной от неэстетических тем и задач. «Инакость» лирического языка очаровательнее всего там, где он совпадает с «обыкновенным», когда его как бы и нет, как как бы и нет ямба в трех словах: «Я вас любил». Но здесь-то и есть яmb – больше, чем где-нибудь. Яmb самого языка. Подарок и чудо чудеснее всего там, где они совпадают с «естества чином», где мы видим, наконец, этот чин как сплошное чудо и сплошной подарок, и весть, и бесконечный смысл.

Азаровка, 1982 год.

ГОРЕ, ПОЛНОЕ ДО ДНА

У Ольги Седаковой встречаются строки, которые хочется держать в уме, не отпуская – как оберег, крепко зажатый в руке. Как защиту от сора и пепла времени, от разгулявшихся глухонемых бесов.

Например эти:

Что нам злоба дня и что нам злоба ночи?

Этот мир, как череп, смотрит: никуда, в упор.

Или слова индийского царевича Иоасафа, который устал от лжи, долженствовавшей, как известно, привязать его к миру сему, отвлечь от аскезы, – и вдруг обожжен неслыханным словом христианского благовестия, и обращается к Варлааму:

То, что знают все, темнее ночи:

Ты один вошел с огнем...

Да, огонь жжет. «О, какое горе, о, какое / Горе, полное до дна!» О чем же еще не переставала говорить поэзия, как не об *этом*? Никогда не забуду, как малым мальчишкой первый раз прочитал у Фета: «...Где радость теплится страданья», – и буквально зашелся от мысли: теперь я знаю, знаю на всю жизнь, про что написаны все на свете стихи, заслуживающие этого имени. Почему они не бывают ни попросту печальными, то есть жалующимися, ни попросту веселыми, то есть «бодрыми и жизнерадостными», а только *такими*.

Христианство дало теплящейся радости страданья окончательный, последний смысл, какого не могло бы дать ничто другое. Оно ее благословило, оно ее оправдало и утвердило;

но оно ее не «изобрело». Чувство это лежит в основе человеческого естества. Мы от начала созданы так, а не иначе. Его отлично понимали во времена язычников, когда учреждали тризны и трагические действа.

Тогда-то понимали. Вопрос не о язычниках, вопрос о нас.

Поэзия Седаковой, эта поэзия, в которой наиболее снисходительно расположенным к ней умникам хотелось бы видеть игру в загадки, и которая в своих удачах, напротив, ошеломляюще прямо по мысли и выражению мысли, – да разве есть для нее место в нашем мире, каков он сегодня и каким прилаживается оставаться на предвидимое будущее? Уже все авгуры окончательно согласились, что творчества, ориентированного на то, что в старину называли сферой неподвижных звезд, как и самой упомянутой сферы, не может быть, потому что быть не может. И кто же не поспешит примкнуть к консенсусу авгуров? Кому охота прослыть за простака, до которого все еще не дошло ведомое умным людям?

Довольно характерно, что стихов Седаковой, как правило, даже и не бранят. Их предпочитают в упор не видеть – или видеть «с точностью наоборот».

Многозначительно алогичное слово «постмодернизм» – то что *после* всего самоновейшего – может иметь только один смысл: после конца света – такого, однако, который не осуществляет, а навсегда отменяет строгие и радостные обетования христианской эсхатологии. Ни Страшного Суда, ни Нового Неба и Новой Земли. Как сказал Томас Стернс Элиот, не грехот, а всхлип. А Бродский уточнил:

*Это хуже, чем грохот
и знаменитый всхлип.
Это хуже, чем детям
сделанное «бо-бо».
Потому что за этим
Не следует ничего.*

Ничего – ничего. В голову лезет фраза, по уверению Марины Цветаевой брошенная «ничевокам» Андреем Белым: «А детки ваши будут – ничегошеньки».

Какие уж тут неподвижные звезды...

Однако в Послании св. апостола Павла к римлянам (глава 12, стих 2) раз и навсегда сказано: «*Не сообразуйтесь веку сему*». Не велено сообразовываться – и все.

Похвалим поэзию Седаковой за то, что она соблюдает завет апостола. Похвалим за то, что она не оставляет себе лазек – дать читателю понять, что с ним, дураком, интеллигентно играли; нет, все – всерьез, корабли сожжены. Похвалим за то, что поэзия эта не искала для себя места в мире – ни гнезда, ни норы. В ее состав никогда не вошло ни атома ни от так называемой советской литературы, хотя бы с самым что ни на есть человеческим лицом, ни от зеркального двойника последней – от литературы «антисоветской» в обоих ее вариантах: диссидентской гражданской скорби и соц-артовского пересмешничества. О последнем зри в только что помянутом монологе Андрея Белого: «При-шел сме-шок. При-тан-це-вал на тонких ножках сме-шок, кхи-шок. Кхи...» Что до гражданской скорби – читатель убедится, что негодование, классическое Ювеналово indignatio, которое можно, если угодно, назвать и гражданским, Седаковой отнюдь не чуждо и выражено подчас с редкостной силой – но разговор незамедлительно переводится на уровень, для либерального протеста по определению недоступный. После строк: «Полумертвый палач улыбнется, / и начнутся большие дела, / и скрипя, как всегда, повернется / колесо допотопного зла. / Погляди же и выкушай страха, / и покрепче язык прикуси...», – голос крепнет на ликующем ужасе обращения к Богу:

*Никогда и ничем не сумею
переволить я волю Твою...*

Место в мире – для поэзии?

*Поэзия земли не умирает,
но если знает, что умрет —
челнок надежный выбирает,
бросает весла и плывет —
и что бы дальше ни случилось,
надежда рухнула вполне
и потому не разлучилась
летать на слуховой волне.
Скажи мне, что под небесами
любезнее любимым небесам,
чем плыть с открытыми глазами
на дне, как раненый Тристан?...*

Полный, зрячий, уверенный – «с открытыми глазами» – отказ от попыток обойти крутизну трагедии и трагического катарсиса; выбор бедственного и просветляющего смысла взамен игр бессмысленных и безопасных, каковые чем дальше, тем вернее не угрожают ровно ничем – кроме такой малости, как гибель души. Знание о том, чем платят за смысл.

*Один святой полюбит Божий суд
и хвалит казнь, к какой его везут,
и ветер на пустой дороге.*

И в каждом слове – то, что на языке аскетической традиции именуется «памятью смертной»: умение смотреть в сторону конца, не отводя глаз, пристально и зорко. Для нее характерна догадка о целительном действии сосредоточенного памятования о конце. Догадка эта высказывается особенно отчетливо в стихотворении «Давид поет Саулу» – дерзновенном споре с одноименными стихами Райнера Мариа Рильке (вообще говоря, одной из «неподвижных звезд» небосвода Седаковой). Библия повествует о том, как злой дух смущал богооставленного царя

Саула; и тогда «Давид, взяв гусли, играл, – и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него» (I Книга Царств, глава 16, стихи 14–23). И вот вопрос: какой песнью, силой каких образов одолевал Давид уныние недужного души царя? У Рильке это чувственные образы, призрак гедонического упоения («Deine Nächte, König, deine Nächte...»). Стихи Седаковой – по фактуре куда более близкие к натуральному Рильке, чем лучшие русские переводы, – говорят о совсем, совсем ином: как раз то, что являет себя как полный отказ от утешительности, – «темно и утешиться нечем», – доходя до неумолимой чистоты, дает тайное, последнее, лежащее за гранью слов утешение.

Как странно, что оракул наших дней возвестил, будто «после Освенцима» нельзя писать стихов. Как странно. Какое, спрашивается, понятие нужно иметь о стихах, чтобы это сказать? Нелли Закс, так та и вовсе стала писать свои стихи после Освенцима, из-за Освенцима – в самом буквальном смысле. В чем еще вековечная суть назначения поэта, если не в том, чтобы перед лицом ужаса обрести не черноту, а целение, не сарказмы, а псалом, не хулу, а хвалу?

*Кто еще похвалит мир прекрасный,
где нас топят, как котят?*

Сестра моя жизнь – эта формула Пастернака была только поздним отголоском на семь столетий более древних слов Ассизского Бедняка, благодарившего Господа за *сестру нашу смерть*.

Лучшие стихи Ольги Седаковой и впрямь написаны, говоря ее же словами:

*...Как в старину, когда еще умели,
одним поступком достигая цели,
ступить — и лечь.
И лечь к купели у Овечьих Врат*

*к родному бесноватому народу,
чтоб ангела, смущающего воду,
уже упавшим сердцем подстеречь.*

Так как же: есть у этого типа поэзии, заведомо не имеющего места в том, что очень умные люди договорились считать сегодняшней культурой, – есть у него будущее? Погадаем еще раз на стихах этой книги, и нам, может быть, откроется строчка:

И это пройдет, и веками идет ...

С. Аверинцев

ПРИМЕЧАНИЯ

- Стр. 18 *Selva selvaggia* – Частая чаща, – Данте, Ад, песнь I, стих 5.
- Стр. 39 *Chat séraphique, chat etrange* – кот серафический, кот волшебный – Ш. Бодлер.
- Стр. 48 *O numi, o numi!* – О боги, о боги! – *Al Italia*. – К Италии.
- Стр. 84 *Sapienti sat* – мудрому довольно (лат. поговорка).
- Стр. 184 *вѣну* – всегда (церковнослав.).
- Стр. 187 *düftig, düftig... du, Nächste... du, Licht...* – душистое, душистое... о, ты ближайшее (время)... о, ты свет (досл.) – отдельные слова из песни Шумана.
- Стр. 192 *The poetry of Earth is never dead* – поэзия земли не умирает – Д. Китс.
- Стр. 197 *Волною морскою скрывашаго древле гонителя мучителя...* – 1-й ирмос Канона Великой Субботы.
- Стр. 225 *For ever separate, and for ever near* – навеки разделены и навеки близки – А. Поп.
- Стр. 229 *Ach, wie nichtig, ach wie fluchtig...* – О, как ничтожно, о как быстротечно – хорал И. С. Баха.
- Стр. 233 *Non vogliate negar l'esperienza di retro al sol, del*

mondo senza gente? – Не хотите ли изведать мир за пределами солнца, мир без людей? – Данте, Ад, песнь XXVI, стих 17–18.

- Стр. 237 *And then the gradual and dual blue, As night unites the viewer and the view.* – И затем постепенная и двойственная синева как ночь соединяет видящего и видимое. – В. Набоков, Бледное пламя.
- Стр. 255 *De arte poetica* – о поэтическом искусстве.
- Стр. 259 *Tuba mirum spargens sonum* – труба, сея дивный звук... – латинский Реквием.
- Стр. 267 *Sic transit gloria* – так проходит слава (мира) – латинская поговорка.
- Стр. 271 *Maestro mio caro, padre dolcissimo, Signor e duca!* – Дорогой учитель, нежный отец, господин и вождь! – Данте (Обращение к Вергилию), Ад, песнь II, стих 140.
- Стр. 323 *Stärk is dein Leben, doch dein Lied ist stärker* – Сильна твоя жизнь, но твоя песня сильнее. – Р. М. Рильке
- Стр. 324 *Anima humana naturaliter Christiana est* – Душа человеческая по природе христианка – Тертуллиан
- Стр. 324 *naturaliter* – по природе

- Стр. 340 *Per te poeta fui, per te cristiano*, – Через тебя я стал поэтом, через тебя – христианином – Данте, Чистилище, песнь XXII, стих 72.
- Стр. 354 *ex humili potens* – из низших – могущественный – Гораций.
- Стр. 356 *cbiario, durchsichtig* – ясный (итал., нем.).
- Стр. 362 *Deine Nächte, König, deine Nächte* – твои ночи, царь, твои ночи. Р.М. Рильке.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОВ

•А там, далеко, где бормочет вода...• (Азаровка. Вещая птица). . .	78
•Бабочка летает и на небо...• (Бабочка или две их).	300
•Бедные, бедные люди!...• (Просьба).	140
•Бесконечное скажут поэты...• (Маленькое посвящение Владимиру Ивановичу Хвостину).	187
•Блудный сын возвратится, Иосиф придет в Ханаан...• (Семь стихотворений).	177
•Больной просыпался. Но раньше, чем он...• (Болезнь).	60
•Большая вещь—сама себе приют...• (Пятые стансы. De arte poetica). . .	255
•Брат и сестра? муж и жена? дочь и отец? все это и больше?...• (Две фигуры).	248
•Будем жить мы долго, так долго...• (Дом)..	151
•Были бы мастера на свете...•	164
•В геральдическом саду...• (Пастух играет. Тристан и Изольда). . .	110
•В двух шагах от притворенной...• (Ранняя баллада).	10
•—Ведь и я...• (Азаровка. В кустах).	73
•Велик рисовальщик, не знающий долга ...•.	288
•Великолепие горит...• (Раненый Тристан плывет в лодке. Тристан и Изольда).	115
•Ветер прощанья подходит и судит...• (Ветер прощанья).	58
•В каждой печальной вещи...• (Заключение).	153
•В ореховых зарослях много пустых колыбелей...• (Горная колыбельная).	66

•Во Францию два гренадера из русского плена брели...• (Походная песня).	143
•В пустыне жизни... Что я говорю...•.	208
•Всегда есть шаг, всегда есть ход...• (Семь стихотворений).	179
•В стеклянной хранилке, потом в румяной туче...• (Осень, огонь и путник).	194
•Вся красота, когда смеется небо...• (Портрет художника на его картине).	83
•В той темноте, где иначе как чудом...• (Сновидец)..	95
•Где высота сама себя играет...• (Горная ода).	182
•Где кто-то идет—там кто-то глядит...• (Вступление второе. Тристан и Изольда).	103
•Где-нибудь в углу запущенной болезни...•.	59
•Да, как дитя, когда оно горит...• (Selva Selvaggia. Возвращение блудного сына).	21
•—Да, мой господин, и душа для души...• (Давид поет Саулу).	173
•—Да сохранит тебя Господь...• (Отшельник говорит. Тристан и Изольда).	127
•Две книги я несу, безмерно уходя...•.	49
•Дерево, Ваня, то самое, смоковницу ту...• (Элегия смоковницы).	306
•Для кого приходит радость...• (Сказка, в которой почти ничего не происходит).	216
•Дом в метели...• (Встреча).	211
•Дух тысячи бед обитал в коридорах...• (Три зеркала. Старый дом).	56
•Едет путник по темной дороге...• (Конь).	132
•Если воздух внести на руках, как ребенка грудного...• (Пение).. . . .	43
•Есть некий дар, не больший из даров...• (Стансы четвертые. Памяти Набокова).	237
•Есть нечто внутри, как летающий прах...• (Елене Шварц).	205
•Есть странная привязанность к земле...• (Ни темной старины заветные преданья).	198

«Женская доля—это прялка...»	161
«Женщина в зеркало смотрит: что она видит—не видно...» (Госпожа и служанка).	249
«За Крестопоклонной, как дело пойдет...» (Вьюга).	196
«Здесь было поместье, и липы вели...» (Азаровка. Поляна).	72
«Знаете ли вы...»	283
«И блудный сын проснулся у крыльца...» (Selva Selvaggia. Возвращение блудного сына).	23
«И вот в тебе тоска, как в зеркале, гостит...» (Взгляд кота).	69
«И в предчувствии мы проживаем...» (Играющий ребенок).	251
«... И в эту погоду, когда, как вину...» (Последний читатель).	188
«Идет, идет и думает: куда...» (В психбольнице)..	201
«Идет, идет. Репей, болиголов...» (Selva Selvaggia. Возвращение блудного сына).	22
«Иди, канцона, как тебе велят...» (Selva Selvaggia. Возвращение блудного сына).	20
«—И дом поджигают, а мы не горим...» (Азаровка. Сад).	82
«Из подозренья, бормотанья...» (Кот, бабочка, свеча).	39
«Из тайных слез, из их копилки тайной...» (Selva Selvaggia. Проводы).	18
«И кто любит, того полюбят...» (Слово).	141
«И как сердце древнего рассказа...» (Варлаам и Иоасаф)..	313
«Или новость—смерть, и мы не скажем сами...» (На смерть Леонида Губанова).	210
«И меня удивило...»	279
«...И мы пошли. — Maestro mio caro...» (Из песни Данте).	271
«И пахнут цветы тяжелей, чем всегда...» (Азаровка. Лесная дорога).	79
«И первую—тем, кто толпится у входа...» (Азаровка. Родник).	71
«И странные картины...» (Сын муз. Тристан и Изольда).	111
«И страшно и холодно стало в лесу...» (Selva Selvaggia. Баллада продолжения).	25
«И так уже страшно—и все же туда...» (Азаровка. Овраг).	80
«И что ж, бывают времена...» (Рыцари едут на турнир. Тристан и Изольда).	107
«И это предверье Плеяд и Гиад...» (Азаровка. Небо ночью).	81

•Какая мышеловка. О, страна...♦ (Элегия, переходящая в реквием).	265
•Как если ребенок тому, что живет...♦ (Азаровка. Деревня).	77
•Как из глубокого колодца...♦	163
•Как темная и золотая рама...♦ (Легенда девятая. Отпевание монахини).	34
•Как старый терпеливый художник...♦ (Старушки).	156
♦—Как упавшую руку, я приподнимаю сиянье...♦	96
•К деревьям тоже можно привязаться...♦ (Элегия липе).	274
•Когда говорю я: Помилуй! Люблю...♦	8
•Когда гудит судьба большая...♦ (Легенда шестая)..	15
•Когда кончится это несчастье...♦ (Путешествие)..	158
•Когда мы решаемся ступить...♦	295
•Когда на востоке вот-вот загорится глубина ночная...♦ (Земля)..	314
•Когда настанет час...♦ (Семь стихотворений).	180
•Когда победитель, не веря себе...♦ (Азаровка. Холмы)..	75
•Когда, прекрасный кот, ты пробужешь в окне...♦ (Взгляд кота).	69
•Кончен труд, мой бедный, кончен труд...♦ (На смерть Владимира Ивановича Хвостина).	207
•Крыши, поднятые по краям...♦	286
•Кто же знает—что ему судили?...♦ (Судьба).	134
•Кто забыл, что судьба—это клятва...♦ (Восемь восьмистиший).	47
•Кто знает, не снилось ли это ему?...♦ (Алатырь).	91
•Кто поверит, что братство и счастье...♦ (Восемь восьмистиший).	46
•Кто родится в черный понедельник...♦	162
•Кто умеет читать по звездам...♦ (Пир).	154
•Куда ты, конь, несешь меня?...♦ (Король на охоте. Тристан и Изольда).	119
•Лазурный бабушкин перстень...♦ (Бусы).	157
•Летят имена из волшебного рога...♦	38
•Лодка летит...♦	285
•Мало ли что мне казалось...♦ (Желание).	148
•Мальчик, старик и собака. Может быть, это надгробье...♦ (Мальчик, старик и собака).	245
•Медленно будем идти и внимательно слушать...♦	50
•Милый мой, сама не знаю...♦ (Зеркало).	149
•Мне кажется порой, что я стою...♦ (Элегия, переходящая в реквием).	268

«—Мне не странно, старец мой чудесный...» (Варлаам и Иоасаф).	311
«Мне снилось, как будто настало прощанье...» (Прощание).	27
«Мне часто снится смерть и предлагает...»	51
«Может, ты перстень духа...»	290
«Можно обмануть высокое небо...» (Грех).	136
«Мой слух наготове. Ты знаешь. И даже...»	7
«Мы приезжали на велосипедах к погосту...» (Сельское кладбище)..	199
«На востоке души, где-то возле блаженных Аравий...» (Статуэтка слона).	189
«На горе, в урочище еловом...» (Колыбельная)..	146
«Над просохшими крышами...» (Золотая труба. Ритм Заболоцкого).	214
«На медленном зное подруга лугов...» (Азаровка. Высокий луг).	76
«На тебя гляжу—и не тебя я вижу...» (Видение).	150
«Не гадай о собственной смерти...» (Утешенье).	138
«Не снизу, а как из-за некоей двери...» (Три зеркала. Женщина у зеркала).	54
«Несчастен...»	287
«Нет, не забудут тебя, если будут кого-нибудь помнить...» (Елене Шварц)..	206
«Нет, это не свет был, нет, это не свет...» (Болезнь).	61
«Неужели и мы, как все...»	291
«Неужели, Мария...»	6
«Ни ангела, звучащего, как щель...»	53
«Никогда и ничем не сумею...» (Восемь восьмистиший)..	47
«Никогда, о Господи, мой Боже...» (Легенда одиннадцатая. Ужин)..	88
«Ни морем, ни дровом, ни крепкой звездой...» (Семь стихотворений)..	176
«Ни мощный дух, ни изощренный разум...» (В духе Леопарди).	48
«Нина, во сне ли, в уме ли, какой-то старинной дорогой...» (Надпись)	252
«Но сердце странно. Ничего другого...» (Элегия, переходящая в реквием).	261
«Но ты поэт! классическая туба...» (Элегия, переходящая в реквием).	260
«Обогрей, Господь, Твоих любимых...» (Молитва).	167
«Он быстро спал, как тот, кто взял...» (Легенда десятая. Иаков).	87
«Он глаз не поднимает—и вода...» (Предпесня).	30
«Он ходит по комнате и замерзает...» (Старый поэт).	97
«О счастье, ты простая...» (Мельница шумит. Тристан и Изольда).	125

«Отвернувшись...» (Женская фигура).	247
«Отец, изъеденный похмельем...» (В винном отделе).	202
«—Отречься? это было бы смешно...» (Безмянным оставшийся мученик).	269
«Падая, не падают...»	281
«Печаль таинственна и сила глубока...» (Семь стихотворений).	175
«Плакал Адам, но его не простили...»	169
«По белому пути, по холодному звездному облаку...»	293
«Погляди, как народ, умирает...» (Восемь восьмистиший).	45
«Подлец ворует хлопок. На неделе...» (Элегия, переходящая в реквием).	259
«По дороге длинной, по дороге пыльной...»	165
«—Пойдем, пойдем, моя радость...»	159
«Поклянись на огне сострадания...» (Восемь восьмистиший).	47
«Полумертвый палач улыбнется...» (Восемь восьмистиший).	45
«—Помни, говорю я, помни...» (Посвящение).	168
«Помнишь, апрель наступал? а вот уж в его середине...» (Лицинию).	204
«Помню я раннее детство...» (Детство).	135
«Послушайте, добрые люди...» (Вступление первое. Тристан и Изольда).	101
«Похвалим нашу землю...»	296
«Походкою кота (как бы само пространство...» (Взгляд кота).	70
«Поэзия земли не умирает...» (Кузнечик и сверчок).	192
«Поэт есть тот, кто хочет то, что все...» (Стансы первые).	225
«Поэт есть тот, кто хочет то, что все...» (Кода).	242
«Преданья о подвижниках похожи...»	52
«Прими, мой друг, устроенную чудно...» (Утешная собачка. Тристан и Изольда).	117
«Прискорбный мир! Волшебная красильня...» (Элегия, переходящая в реквием).	262
«Проказа, целый ужас древний...» (Карлик гадает по звездам. Заодно о проказе. Тристан и Изольда).	121
«Пророков не было. Виденья были редки...» (Сретение).	35
«Прощай, канцона. Гордому уму...» (Selva Selvaggia. Возвращение блудного сына).	24
«Прощай, тебя забудут и скорей...» (Элегия, переходящая в реквием)..	267

«Пруд говорит...»	280
«—Пусть знают, как образ Твой руки ломает...» (Три зеркала. Пророк).	57
«Разве мало я живу на свете?...» (Спор).	139
«Серебрянных, белых, зеленых, седых...» (Азаровка. Ивы).	74
«Сквозь изгородь из роз просовывая руку...» (Ночь. Тристан и Изольда встречают в лесу отшельника).	123
«Слышишь, мама, какая-то птица поет...» (Смелый рыбак. Крестьянская песня. Тристан и Изольда).	114
«С нежностью и глубиной...»	289
«Снится блудному сыну...» (Сон).	152
«Солнце светит на правых и неправых...» (Смелость и милость)..	142
«Спи, голубчик, не то тебя бросят...» (Другая колыбельная)..	155
«Среди путей, врученных сердцу...» (Легенда вторая).	14
«Старец из пустыни Сенаарской...» (Варлаам и Иоасаф)..	309
«—С того дня, как ты домой вернулся...» (Неверная жена).	144
«Существованье—смутное стекло...» (Стансы третьи. Вино и плавание).	233
«Так зверю больному с окраин творенья...» (Прощание).	27
«Так мы и ехали: то ли в слезах, то ли больно от белого света...» (Странное путешествие).	31
«Так она лежит, и говорят...» (Сказка).	93
«Так раскольникам в тьмутаракани...» (Восемь восьмистиший).	46
«Там, на горе...»	282
«Те, кто жили здесь, и те, кто живы будут...» (Бабочка или две их)..	299
«То в теплом золоте, в широких переплетах...»	29
«Только увижу...»	284
«Только я сказать хотела...» (Весна).	212
«Тот, кто ехал так долго и так вдалеке...» (Путешествие волхвов)..	63
«Туда, где росли мы, туда, где смотрели...» (Сестре).	9
«Ты все—как сердце после бега...» (Побег блудного сына)..	32
«Ты гори, невидимое пламя...»	166
«Ты гулюшки над старой люлькой...» (Вода-крестьянка).	44
«Ты знаешь, я так тебя люблю...»	294
«Ты развернешься в расширенном сердце страданья...»	13

«Ты сад, ты сад патрицианский...» (Легенда седьмая. Смерть Алексия римского угодника).	16
«Ты становится вы, вы все, они...» (Элегия осенней воды)..	301
«Уже не оставалось никого...» (Легенда двенадцатая. Сергей Радонежский).	89
«Уж звездное небо уносит на запад...» (Ночное шитье).	190
«Уж мы-то знаем: власть пуста, как бочка...» (Элегия, переходящая в реквием).	264
«Флейте отвечает флейта...».	292
«Холод мира...».	170
«Хорошо куда-нибудь вернуться...» (Возвращение. Стих об Алексее).	147
«Хоть и все над тобой посмеются...» (Уверение).	145
«Хочешь—кувшин, хочешь—копье, хочешь—прялку...» (Кувшин. Надгробье друга).	250
«Хочу я Господа любить...» (Нищие идут по дорогам. Тристан и Изольда).	109
«Человек он злой и недобрый...».	137
«Что делает он там, где нет его?...» (Стансы вторые. На смерть котенка).	229
«Что же ты, злая обида...» (Обида)..	131
«Что же я такое сотворила...».	160
«Это имя еще не остыло...» (Восемь восьмистиший).	45
«Это свет или куст?...» (Утро в саду).	68
«Я не могу подумать о тебе...» (Семь стихотворений)	178
«Я северную арфу...» (Вступление третье. Тристан и Изольда).	105
«Я так люблю ...» (Семь стихотворений).	181
«Я тоже из тех, кому больше не надо...» (Прощание).	28

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	5
---------------------	---



Из школьных стихов

♦Неужели, Мария...♦	6
♦Мой слух наготове. Ты знаешь. И даже...♦	7
♦Когда говорю я: Помилуй! Люблю...♦	8
Сестре	9
Ранняя баллада	10

ДИКИЙ ШИПОВНИК



Дикий шиповник	13
Легенда вторая	14
Легенда шестая	15
Легенда седьмая. Смерть Алексия римского угодника	16
Selva Selvaggia. Триптих из баллады, канцоны и баллады	
I. Проводы	18
II. Возвращение блудного сына	20
III. Баллада продолжения	25
Прощание	27
♦То в теплом золоте, в широких переплетях...♦	29
Предпесня	30
Странное путешествие	31
Побег блудного сына	32

Легенда девятая. Отпевание монахини	34
Сретение	35



Первый музыкальный антракт

♦Летят имена из волшебного рога...♦	38
Кот, бабочка, свеча	39
Пение	43
Вода-крестьянка	44



Нелирическое отступление

Восемь восьмистиший	45
♦Полумертвый палач улыбнется...♦	45
♦Погляди, как народ, умирает...♦	45
♦Это имя еще не остыло...♦	46
♦Кто поверит, что братство и счастье...♦	46
♦Так раскольникам в тьмутаракани...♦	46
♦Кто забыл, что судьба — это клятва...♦	47
♦Никогда и ничем не сумею...♦	47
♦Поклянись на огне состраданья...♦	47
В духе Леопарди	48



♦Две книги я несу, безмерно уходя...♦	49
♦Медленно будем идти и внимательно слушать...♦	50
♦Мне часто снится смерть и предлагает...♦	51
♦Преданья о подвижниках похожи...♦	52
♦Ни ангела, звучащего, как щель...♦	53
Три зеркала	
1. Женщина у зеркала	54
2. Старый дом	56
3. Пророк	57
Ветер прощанья	58
♦Где-нибудь в углу запущенной болезни...♦	59
Болезнь	60

Путешествие волхвов	63
Горная колыбельная	66
Утро в саду	68

■

Второй музыкальный антракт

Взгляд кота

«Когда, прекрасный кот, ты пробуешь в окне...»	69
«И вот в тебе тоска, как в зеркале, гостит...»	69
«Походкою кота (как бы само пространство...»	70

Азаровка. Сюита пейзажей

1. Родник	71
2. Поляна	72
3. В кустах	73
4. Ивы	74
5. Холмы	75
6. Высокий луг	76
7. Деревня	77
8. Вещая птица	78
9. Лесная дорога	79
10. Овраг	80
11. Небо ночью	81
12. Сад	82

■

Портрет художника на его картине	83
Легенда десятая. Иаков	87
Легенда одиннадцатая. Ужин	88
Легенда двенадцатая. Сергей Радонежский	89
Алатырь	91
Сказка	93
Сновидец	95
«—Как упавшую руку я приподнимаю сиянье...»	96

•

Постскриптум

Старый поэт	97
-----------------------	----

ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА

Вступление первое	101
Вступление второе	103
Вступление третье	105
1. Рыцари едут на турнир	107
2. Нищие идут по дорогам	109
3. Пастух играет	110
4. Сын муз	111
5. Смелый рыбак. Крестьянская песня	114
6. Раненый Тристан плывет в лодке	115
7. Утешная собачка	117
8. Король на охоте	119
9. Карлик гадает по звездам. Заодно о проказе	121
10. Ночь. Тристан и Изольда встречают отшельника	123
11. Мельница шумит	125
12. Отшельник говорит	127

СТАРЫЕ ПЕСНИ

Первая тетрадь	
1. Обида	131
2. Конь	132
3. Судьба	134
4. Детство	135
5. Грех	136
6. «Человек он злой и недобрый...»	137
7. Утешенье	138
8. Спор	139
9. Просьба	140
10. Слово	141

Вторая тетрадь

1. Смелость и милость	142
2. Походная песня	143
3. Неверная жена	144
4. Уверение	145
5. Колыбельная	146
6. Возвращение. Стих об Алексее	147
7. Желание	148
8. Зеркало	149
9. Видение	150
10. Дом	151
11. Сон	152
12. Заключение	153

Стихи из второй тетради, не нашедшие в ней себе места

Пир	154
Другая колыбельная	155
Старушки	156
Бусы	157
Путешествие	158

Третья тетрадь

1. ♦—Пойдем, пойдем, моя радость...♦	159
2. ♦Что же я такое сотворила...♦	160
3. ♦Женская доля—это прялка...♦	161
4. ♦Кто родится в черный понедельник...♦	162
5. ♦Как из глубокого колодца...♦	163
6. ♦Были бы мастера на свете...♦	164
7. ♦По дороге длинной, по дороге пыльной...♦	165
8. ♦Ты гори, невидимое пламя...♦	166
9. ♦Обогрей, Господь, Твоих любимых...♦	167

Прибавления к «Старым песням»

Посвящение	168
♦Плакал Адам, но его не простили...♦	169
♦Холод мира...♦	170

ВОРОТА, ОКНА, АРКИ

Давид поет Саулу	173
----------------------------	-----

Семь стихотворений

•Печаль таинственна и сила глубока...♦	175
•Ни морем, ни деревом, ни крепкой звездой...♦	176
•Блудный сын возвратится, Иосиф придет в Ханаан...♦	177
•Я не могу подумать о тебе...♦	178
•Всегда есть шаг, всегда есть ход...♦	179
•Когда настанет час...♦	180
•Я так люблю...♦	181
Горная ода	182

■

Разрозненные и посвященные стихотворения

Маленькое посвящение Владимиру Ивановичу Хвостину	187
Последний читатель	188
Статуэтка слона	189
Ночное шитье	190
Кузнечик и сверчок	192
Осень, огонь и путник	194
Вьюга	196
- Ни темной старины заветные преданья	198
- Сельское кладбище	199
- В психбольнице	201
+ В винном отделе	202
Лицинию	204
- Елене Шварц	
•Есть нечто внутри, как летающий прах...♦	205
•Нет, не забудут тебя, если будут кого-нибудь помнить...♦	206
На смерть Владимира Ивановича Хвостина	207
•В пустыне жизни... Что я говорю...♦	208
На смерть Леонида Губанова	210
Встреча	211
Весна	212
Золотая труба. В ритме Заболоцкого	214

■

Сказка, в которой почти ничего не происходит	216
--	-----

СТАНСЫ В МАНЕРЕ АЛЕКСАНДРА ПОПА

Стансы первые	225
Стансы вторые. На смерть котенка	229
Стансы третьи. Вино и плавание	233
Стансы четвертые. Памяти Набокова	237
Кода	242

СТЕЛЫ И НАДПИСИ

Мальчик, старик и собака	245
Женская фигура	247
Две фигуры	248
Госпожа и служанка	249
Кувшин. Надгробье друга	250
Играющий ребенок	251
Надпись	252

ЯМБЫ

Пятые стансы. De arte poetica	255
Элегия, переходящая в реквием	259
Безымянным оставшийся мученик	269
Из песни Данте	271
Элегия липе	274

КИТАЙСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

1. «И меня удивило...»	279
2. «Пруд говорит...»	280
3. «Падая, не падают...»	281
4. «Там, на горе...»	282
5. «Знаете ли вы...»	283
6. «Только увижу...»	284
7. «Лодка летит...»	285
8. «Крыши, поднятые по краям...»	286

9. «Несчастен...»	287
10. «Велик рисовальщик, не знающий долга...»	288
11. «С нежностью и глубиной...»	289
12. «Может, ты перстень духа...»	290
13. «Неужели и мы, как все...»	291
14. «Флейте отвечает флейта...»	292
15. «По белому пути, по холодному звездному облаку...»	293
16. «Ты знаешь, я так тебя люблю...»	294
17. «Когда мы решаемся ступить...»	295
18. «Похвалим нашу землю...»	296

ЭЛЕГИИ

Бабочка, или две их	299
Элегия осенней воды	301
Элегия смоковницы	306
Варлаам и Иоасаф	309
Земля	314



Похвала поэзии	317
Горе, полное до дна	358
Примечания	364
Алфавитный указатель стихов	367

О. А. Седакова
Стихи

Редактор, корректор
А. П. Мельникова

Издательство «Гнозис»
119847, Москва, Зубовский бульвар, 17
тел. 246-5632, факс 230-2403
Реализация: магазин «Эйдос»
тел. 201-2608

Формат 60х90 /16. Бумага офсетная N 1,
печать офсетная. Тираж 3000 экз.
Заказ N 53
Отпечатано с оригинал-макета в типографии
АООТ «Астра семь»
121019, Москва, Аксаков пер., 13

ЗАМКЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать	
1)	29	1-я снизу	звезд	слез
2)	37	2-я сверху	чудесам	чудесем
3)	39	эпиграф	séraphique	séraphique
4)	48	12-я снизу	сами с собой	сами с собой
5)	53	5-я снизу	сердце	сердца
6)	69	заголовок	музыкальный	музыкальный
7)	114	8-9 снизу	ведь ночь коротка и весна коротка	ведь ночь коротка и весна коротка
8)	125	4-я сверху	раскаченная	раскачанная
9)	186	8-я сверху	с листвою	с листвою
10)	194	8-я сверху	дождь-беспамятный	дождь беспамятный
11)	199	6-я сверху	нинешние реки	ненешние реки
12)		2-я снизу	свисток	свиток
13)	210	3-я снизу	пусть-хоть	пусть хоть
14)	214	4-я снизу	форунов	форунов
15)	229	5-я сверху	flüchtig	flüchtig
16)	272	1-2 снизу		вычеркнуть
17)	299	5-я сверху	жить	жизнь
18)	323	6-я сверху	stärk	stark
19)	341	1-я сверху	почти то же	почти то же, что
20)	361	8-я сверху	разлучилась	разучилась
21)		9-я сверху	на	по
22)	364	3-я сверху	séraphique	séraphique
23)		3-я снизу	flüchtig	flüchtig
24)	365	6-я снизу	stärk	stark
25)	368	7-я сверху	Потрет	Портрет
26)	369	11-я сверху	читатль	читатель
27)	374	1-2 сверху	римского угодника	Римского Угодника
28)	375	10-я снизу	римского угодника	Римского Угодника
29)	377	8-я сверху	пространство...	пространство...)